



ДЖОАНН ХАРРИС

ШОКОЛАД

Трилогия еды

Джоанн Харрис

Шоколад

«ЭКСМО»

Харрис Д.

Шоколад / Д. Харрис — «Эксмо», — (Трилогия еды)

ISBN 978-5-699-24490-4

Сонное спокойствие маленького французского городка нарушено приездом молодой женщины Вианн и ее дочери. Они появились вместе с шумным и ярким карнавальным шествием, а когда карнавал закончился, его светлая радость осталась в глазах Вианн, открывшей здесь свой шоколадный магазин. Каким-то чудесным образом она узнает о сокровенных желаниях жителей городка и предлагает каждому именно такое шоколадное лакомство, которое заставляет его вновь почувствовать вкус к жизни. «Шоколад» – это история о доброте и терпимости, о противостоянии невинных соблазнов и закоснелой праведности. Одноименный голливудский фильм режиссера Лассе Халлстрема (с Жюльетт Бинош, Джонни Деппом и Джуди Денч в главных ролях) был номинирован на «Оскар» в пяти категориях и на «Золотой глобус» – в четырех.

ISBN 978-5-699-24490-4

© Харрис Д.
© Эксмо

Содержание

1	5
2	9
3	12
4	14
5	16
6	18
7	22
8	28
9	32
10	34
11	36
12	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Джоанн Харрис

Шоколад

*В память о моей прабабушке
Мари Андре Сорен
(1892—1968)*

1

11 февраля

Вторник на Масленой неделе

Мы прибыли сюда с карнавалом. Нас пригнал ветер, не по-февральски теплый ветер, что полнится горячими сальными ароматами шкворчащих лепешек, сосисок и посыпанных сладкой пудрой вафель – их пекут на раскаленной плите прямо у обочины. В воздухе дурацким противоядием от зимы вихрится конфетти, скользит по рукавам, манжетам и в конце концов оседает в канавах. Люди лихорадочно толпятся вдоль узкой главной улицы, тянут шеи, хотят разглядеть обитую крепом повозку – за ней тянется шлейф из лент и бумажных розочек. Анук – в одной руке желтый воздушный шар, в другой игрушечная труба – смотрит во все глаза, стоя между базарной корзиной и грустным бурым псом. Карнавальные шествия нам, мне и ей, не в диковинку; двести пятьдесят разукрашенных повозок перед прошлым постом в Париже, сто восемьдесят в Нью-Йорке, два десятка марширующих оркестров в Вене, клоуны на ходулях, карнавальные куклы качают большими головами из папье-маше, девушки в мундирах вращают сверкающие жезлы. Но когда тебе шесть, мир полон особого очарования. Деревянная повозка, наспех украшенная позолотой и крепом, сцены из сказок. Голова дракона на щите, Рапунцель в шерстяном парике, русалка с целлофановым хвостом, пряничный домик – картонная коробка в глазури с позолотой, в дверях колдунья тычет пальцами с нелепыми зелеными ногтями в группу притихших детей... В шесть лет ты способен постигать тонкости, которые годом позже уже будут вне твоего разума. За папье-маше, мишурой, пластиком она еще видит настоящую колдунью, настоящее волшебство. Она смотрит на меня. Глаза сияют, сине-зеленые, как Земля, открывшаяся взору с большой высоты.

– Мы здесь останемся? Останемся?

Приходится напоминать, что говорить надо по-французски.

– Но мы останемся? Останемся?

Она цепляется за мой рукав. На ветру ее волосы – будто ком сахарной ваты.

Я раздумываю. Городок не хуже других. Ланскне-су-Танн. Сотни две душ, не больше. Крошечная точка на скоростном шоссе между Тулузой и Бордо. Моргнул – и уже проскочили. Одна главная улица – два ряда деревянно-кирпичных домиков мышиного цвета, застенчиво льнущих один к другому; боковые ответвления тянутся параллельно, словно зубцы кривой вилки. Вызывающе белая церковь на площади; по периметру площади – магазинчики. Фермы, разбросанные по недремлющим полям. Сады, виноградники, огороженные полосы земли, расчлененной согласно строгой иерархии местного сельского хозяйства: здесь яблони, там киви, дыни, эндивий под панцирем из черного пластика, виноградные лозы – сухие зачахшие плети в лучах скудного февральского солнца – ожидают марта, чтобы победоносно воскреснуть из мертвых... Дальше – Танн, маленький приток Гаронны, нащупывает себе дорогу по болотистому пастбищу. А что же местные жители? Мало чем отличаются от тех, кого мы встречали прежде; может, чуть бледнее при свете нежданного солнца, чуть тусклее. Платки и береты тех же оттенков, что и упрятанные под них волосы, – коричневые, черные, серые. Лица ску-

коженные, как прошлогодние яблоки; глаза утопают в морщинистой коже, будто стеклянные шарики в затвердевшем тесте. Несколько ребятишек в красных, лаймовых, желтых развевающихся одежках чуждятся пришельцами с другой планеты. Крупная женщина с квадратным несчастным лицом, кутая плечи в клетчатый плащ, что-то кричит на полупонятном местном диалекте в сторону повозки, медленно катящей по улице вслед за старым трактором, который ее и тащит. Из фургона коренастый Санта-Клаус, явно лишний в компании эльфов, сирен и гоблинов, швыряет в толпу сладости, еле сдерживая злость. Пожилой мужчина с мелкими чертами лица – вместо круглого берета, традиционного головного убора местных, на нем фетровая шляпа, – глянув на меня с виноватой учтивостью, берет на руки грустную бурую псину, притупившуюся у моих ног. Я вижу, как его тонкие красивые пальцы зарываются в собачью шерсть; пес скулит; на лице его хозяина отражается сложная смесь чувств – любовь, тревога, угрызения совести. На нас никто не смотрит, будто мы невидимки. Одежда выдает в нас чужаков, проезжих. Воспитанные люди, на редкость воспитанные; ни один не взглянет на нас. На женщину с длинными волосами, заткнутыми за воротник оранжевого плаща, и длинным трепыхающимся шелковым шарфом на шее. На ребенка в желтых резиновых сапогах и небесно-голубом макинтоше. У них другой колорит. Броский наряд, лица – чересчур бледные или слишком смуглые? – волосы, все в них *не такое*, чужое, смутно непривычное. Обитатели Ланскне в совершенстве владеют искусством наблюдения укрادкой. Их взгляды словно дышат мне в затылок – вовсе не враждебные, как ни странно, и тем не менее холодные. Мы для них – диковинка, карнавальная экзотика, заморские гости. Я чувствую их взгляды, когда поворачиваюсь к уличному торговцу, чтобы купить лепешку. Бумага жирная и горячая, пшеничная лепешка хрустит по краям, но в середине толстая и пышная. Я отламываю кусок и даю Анук, вытираю растаявшее масло с ее подбородка. Уличный торговец – полноватый лысеющий мужчина в очках с толстыми стеклами; от жара плиты на лице испарина. Он подмигивает Анук. Другим глазом подмечает каждую мелочь, зная, что позже его будут расспрашивать.

– В отпуск приехали, мадам?

Согласно местному этикету, ему дозволено заговаривать с незнакомцами. Я вижу, что за внешним безразличием торговца кроется жадное любопытство.

В Ланскне, соседствующем с Аженом и Монтобаном, туристы – большая редкость, и посему любая новая информация здесь – как живые деньги.

– На время.

– Из Парижа, значит?

Это, должно быть, из-за одежды. В этом пестром краю люди блеклые. Сочные цвета, по их мнению, ненужная роскошь; не к лицу. Яркая растительность по обочинам – это все бесполезные навязчивые сорняки.

– Нет-нет, не из Парижа.

Повозка уже почти в конце улицы. Небольшой оркестр – две флейты, две трубы, тромбон и военный барабан – идет за ней, тихо наигрывая неузнаваемый марш. Следом бегут с десятков ребятишек, подбирают с земли невостребованные сласти. Кое-кто в карнавальных костюмах: я вижу Красную Шапочку и еще какого-то косматого персонажа; возможно, это волк. Они беззлобно препираются из-за охапки лент.

Колонну замыкает фигура в черном. Поначалу я принимаю его за участника карнавала – быть может, Врачевателя Чумы, – но вот он приближается, и я узнаю старомодную сутану сельского священника. Ему за тридцать, хотя издали он кажется старше – до того чопорен. Он поворачивается ко мне; я вижу, что он тоже не местный уроженец. Широкоскулое лицо, светлые глаза северянина, длинные, как у пианиста, пальцы покоятся на серебряном кресте, висящем на шее. Возможно, именно это, его чужеродность, и дает ему право смотреть на меня. Но я не замечаю дружелюбия в его холодных светлых глазах.

Он сверлит меня оценивающим злобным взглядом, как человек, опасющийся за свою территорию. Я улыбаюсь ему, он испуганно отворачивается. Шестом подзывает двух ребятшек, показывает им на мусор, которым теперь усыпана вся дорога. Дети нехотя подбирают и бросают ленты и фантики в ближайший мусорный бак. Отворачиваясь, краем глаза опять ловлю его взгляд, который, возможно, сочла бы восхищенным, будь на месте священника любой другой мужчина.

Полицейского участка в Ланскне-су-Танн нет, а значит, нет и преступности. Я пытаюсь брать пример с Анук, пытаюсь разглядеть истину под внешним обличем, но пока все расплывается.

– Мы останемся? Останемся, тамап? – Она настойчиво дергает меня за руку. – Мне здесь нравится, очень нравится. Мы ведь останемся?

Я подхватываю ее на руки и целую в макушку. От Анук пахнет дымом, жареными лепешками и теплом постели в зимнее утро.

Почему бы нет? Городок не хуже других.

– Да, конечно, – отвечаю я ей, зарываясь губами в ее волосы. – Конечно останемся.

И я почти не лгу. Возможно, на этот раз так и будет.

Карнавал окончен. Раз в год Ланскне ненадолго вспыхивает яркими красками и так же стремительно остывает. На наших глазах толпа рассеивается, торговцы убирают горячие плиты и навесы, дети снимают карнавальные костюмы и украшения. Все немного смущены и растеряны от избытка шума и цвета, что испаряются, как июльский дождь, – затекают в земные трещины, бесследно растворяются в иссушенных камнях. Спустя два часа Ланскне-су-Танн вновь невидим, словно заколдованный городок, что является взору лишь раз в год. Если бы не карнавальное шествие, мы бы его, наверное, и вовсе не заметили.

Газ у нас есть, но электричество пока отсутствует. В первый вечер при свече я напекла для Анук блинчиков, и мы поужинали у очага – старый журнал вместо тарелок, – поскольку наш багаж доставят только завтра. Лавка, что мы арендовали, прежде была пекарней. До сих пор над узким дверным проемом – резной пшеничный сноп, на полу – толстый слой мучной пыли; мы пробирались через груды старых писем, газет и журналов. Нам, привыкшим к дороговизне больших городов, арендная плата показалась баснословно низкой, и все равно, отсчитывая деньги в агентстве, я поймала подозрительный взгляд его сотрудницы. В договоре об аренде я зовусь Вианн Роше; моя подпись, иероглиф-закорючка, может означать что угодно. При свече мы обследовали наши новые владения. Старые печи, жирные и закопченные, как ни странно, еще вполне приличные, сосновые панели на стенах, почерневшая глиняная плитка на полу. В дальней комнате Анук обнаружила свернутый навес. Когда мы потащили его на свет, из-под выцветшей парусины врассыпную кинулись пауки. Жить мы будем над магазином: спальня-гостиная, ванная, смехотворно крошечный балкон, терракотовый горшок с засохшей геранью... Анук скривилась, когда увидела все это.

– Здесь так темно, тамап. – Голос у нее испуганный, дрожит при виде такого запустения. – И грустно пахнет.

Она права. Запах такой, будто здесь годами томился дневной свет, пока не сквасился и не протух. Стоит дух мышиных фекалий и призраков забытого прошлого, о котором никто не жалеет. Гулко, словно в пещере. От убогого тепла наших тел только четче проступают тени. Краска, солнце и мыльная вода сотрут въевшуюся грязь. Другое дело – скорбь, горестное эхо заброшенного дома, где годами не звучал смех. В отблесках пламени свечи лицо Анук кажется бледным, глазенки вытаращены. Она стискивает мою руку.

– И мы будем здесь спать? – спрашивает она. – Пантуфлю тут не нравится. Он боится.

Я улыбаюсь и целую ее в золотистую щечку.

– Пантуфль нам поможет.

В каждой комнате мы зажгли свечи – золотые, красные, белые и оранжевые. Я предпочитаю благовония собственного приготовления, но сейчас их нет, а для наших целей вполне годятся и купленные свечи – с ароматами лаванды, кедра и лимонного сорго. Мы держим по свечке, Анук гудит в игрушечную трубу, я стучу металлической ложкой о старую кастрюлю, и десять минут мы топчем по комнатам, вопя и распевая во все горло: «Прочь! Прочь! Прочь!», пока наконец стены не сотрясаются и разъяренные призраки не убегают, оставляя за собой едва уловимый запах гари и хлопья осыпавшейся штукатурки. Если всмотреться в трещинки потемневшей краски, в грустные силуэты брошенных вещей, разглядишь неясные очертания – будто остаточные изображения бенгальского огня в руке: тут стена сверкает золотом, там кресло, немного потертое, но торжественно сияет оранжевым, и старый навес вдруг заиграл яркими оттенками, что высветились из-под слоя пыли и грязи. Анук с Пантуфлем топают и поют: «Прочь! Прочь! Прочь!» – и расплывчатые силуэты все четче: красный табурет возле стойки, покрытой винилом, гроздь колокольчиков у двери. Я, разумеется, понимаю, что это всего лишь игра. Придуманное волшебство, чтобы успокоить испуганного ребенка. Нам предстоит поработать, хорошенько потрудиться, дабы вещи взаправду засияли. Но пока достаточно знать, что дом рад нам, как мы рады ему. У порога хлеб с солью, чтобы умиловить обитающих здесь богов. На подушках ветки сандалового дерева, чтобы нам снились приятные сны.

Позже Анук сказала, что Пантуфлю уже не страшно, значит, тревожиться не о чем. Не задувая свечей, мы в одежде улеглись на пыльный матрас в спальне, а когда проснулись, уже наступило утро.

2

12 февраля Пепельная среда

Разбудил нас звон колоколов. Я и не догадывалась, что наша лавка стоит так близко к церкви, пока не услышала, как низкое резонирующее «бом-м» растворяется в мелодичном перезвоне – «боммм фла-ди-дади-бомммм». Я глянула на часы. Шесть утра. Через щели разбитых ставней на постель струится серо-золотистый свет. Я поднялась и выглянула на площадь. Мокрый булыжник блестит. Квадратная белая церковная башня резко вздымается в утренних лучах из ямы темных витрин – булочной, цветочного магазина, похоронной лавки, торгующей мемориальными табличками, каменными ангелами, неувядающими эмалевыми розами... Среди настороженных глухих фасадов белая башня – словно маяк. На ее часах – шесть двадцать, римские цифры мерцают красным, вводя в заблуждение дьявола. Из неприступной ниши на головокружительной высоте взирает на площадь Дева Мария – тоскливо, будто мучимая тошнотой. На кончике короткого шпиля крутится флюгер – фигурка в длинном одеянии и с косой показывает то строго на запад, то на запад-северо-запад. С балкончика, где стоит горшок с дохлой геранью, я замечаю первых горожан, спешащих на мессу. Вон вчерашняя женщина в клетчатом плаще. Я махнула ей, но она, не отвечая, лишь плотнее закуталась в свой плащ и торопливо прошла мимо. Следом идет мужчина в фетровой шляпе, за ним по пятам семенит его грустный бурый пес. Мужчина робко улыбается мне, я громко и радостно здороваюсь, но, очевидно, местный этикет не допускает подобных вольностей, ибо мужчина тоже не отвечает, спеша скрыться в церкви вместе со своим питомцем.

После уж никто не смотрел на мое окно, хотя я насчитала шестьдесят голов – в шарфах, беретах, шляпах, надвинутых низко, прячущих лица от незримого ветра. Но я ощущала их напускное, пронизанное любопытством равнодушие. У нас есть дела поважнее, говорили их ссутуленные спины и втянутые в плечи головы. Однако они плелись по мостовой, как дети, которых заставляют ходить в школу. Вот этот сегодня бросил курить, определила я, тот отказался от еженедельных визитов в кафе, та – от любимых блюд. Не моя забота, само собой. Но в этот момент я сознаю: если и есть на земле уголок, нуждающийся в капельке магии... Старые привычки не умирают. И если вы некогда исполняли чужие желания, этот порыв никогда не оставит вас. К тому же ветер, спутник карнавала, все еще дует, пригоняя едва уловимые запахи жира, сахарной ваты и пороха, острые пряные ароматы приближающейся весны, от которых зудят ладони и чаще бьется сердце... Значит, мы остаемся. На время. Пока не сменится ветер.

В городской лавке мы купили краску, кисти, малярные валики, мыло и ведра. Уборку начали со второго этажа, сверху вниз, – срывали шторы, негодные вещи сбрасывали в крошечный внутренний садик, где быстро росла гора мусора; мылили пол, то и дело окатывая водой узкую закопченную лестницу, так что обе вымокли насквозь по нескольку раз. Щетка Анук превратилась в подводную лодку, моя – в танкер; он с шумом пускал вниз по лестнице стремительные мыльные торпеды, и они разрывались в холле. В самый разгар уборки звякнул дверной колокольчик. С щеткой и мылом в руках я подняла голову и увидела рослую фигуру священника.

А я-то все спрашивала себя, когда же он решит нанести нам визит.

С минуту он рассматривает нас. Улыбается. Настороженной улыбкой, благожелательной, хозяйской. Так владелец поместья приветствует незваных гостей. Я чувствую, что его очень смущает мой внешний вид – мокрый грязный комбинезон, волосы, подвязанные красным шарфом, голые ступни в хлюпающих сандалиях.

– Доброе утро. – К его начищенной черной туфле течет пенистый ручеек. Священник косится на мыльный поток и вновь обращает взгляд на меня. – Франсис Рейно, – представляется он, предусмотрительно делая шаг в сторону. – Кюре местного прихода.

Я смеюсь. Не могу сдержаться.

– А, вон оно что, – ехидничаю я. – Я думала, вы персонаж карнавального шествия.

Он смеется из вежливости. Хе, хе, хе.

Я протягиваю руку в желтой резиновой перчатке.

– Вианн Роше. А та бомбардирша сзади – моя дочь Анук.

Взрывы мыльных пузырей. Анук сражается с Пантуфлем на лестнице. Я чувствую, что священник ждет от меня подробностей о мсье Роше. Гораздо проще, когда все изложено черным по белому, чин чинком, официально. Тогда не приходится задавать неловких, неприятных вопросов...

– Полагаю, вы были очень заняты утром.

Внезапно мне становится жаль его: он так старательно ищет ко мне подход. Опять принужденно улыбается.

– Да, нам и впрямь надо поскорее навести тут порядок. Работы уйма – враз не переделаешь. Но нас в любом случае не было бы сегодня в церкви, monsieur le curé. Мы не ходим в церковь.

Это я из добрых побуждений – сразу дать понять, на чем мы стоим, успокоить его. Но он меняется в лице, вздрагивает, будто я его оскорбила.

– Понятно.

Я веду себя слишком откровенно. Он бы предпочел, чтоб мы потоптались вокруг да около, вкрадчиво походили кругами, как настороженные кошки.

– Но я очень признательна вам за радушный прием, – бодро продолжаю я. – Надеюсь, с вашей помощью мы даже обзаведемся здесь друзьями.

Он и сам смахивает на кошку: холодные светлые глаза неизменно ускользают, наблюдают неустанно, изучают, взгляд отстраненный.

– Сделаю все, что в моих силах. – Теперь, когда выяснилось, что мы не пополним ряды его паствы, священник равнодушен. Однако, повинуясь голосу совести, вынужден предложить нам больше, чем желал бы дать: – У вас есть какие-то конкретные просьбы?

– Вообще-то мы бы не отказались от помощников, – говорю я и, видя, что он начинает отвечать, быстро добавляю: – Речь, разумеется, не о вас. Но может, вы знаете кого-нибудь, кто хотел бы подзаработать? Например, штукатура, кого-нибудь, кто помог бы с ремонтом?

Это ведь тема побезопаснее.

– Нет, я таких не знаю. – Он настороже – впервые встречаю столь настороженного человека. – Но поспрашиваю.

Может, и поспрашивает. Как и полагается, исполнит свой долг перед новоприбывшими. Но наверняка никого не найдет. Такие люди не оказывают услуг из милости. Священник подозрительно косится на хлеб с солью у порога.

– Это на счастье, – улыбаюсь я.

Его лицо каменеет. Он стороной обходит наш скромный дар домашним богам, словно это скверна.

– Матап? – В дверях появляется всклокоченная головка Анук. – Пантуфль хочет поиграть на улице. Можно?

Я киваю.

– Только из сада никуда. – Вытираю грязь с ее переносицы. – Ну и видок у тебя. Суший сорванец. – Ее взгляд обращается на священника, я вовремя замечаю в ее глазах смешинки. – Анук, это мсье Рейно. Поздоровайся.

– Здравствуйте! – кричит Анук, бегом направляясь к выходу. – До свидания!

Неясным пятном мелькают желтый свитер с красным комбинезоном, и она скрывается за дверью, скользя по сальной кафельной плитке. Уже не в первый раз мне чудится, что следом за ней исчез и Пантуфель – темная клякса на фоне дверной рамы еще темнее.

– Ей всего шесть, – объясняю я.

Рейно выдавливает кислую улыбку – очевидно, мимолетная встреча с моей дочерью только укрепила все его подозрения относительно меня.

3

13 февраля, четверг

Слава богу, на сегодня я свободен. Как же утомляют меня эти визиты. Речь, конечно, не о тебе, топ рёге. Мой еженедельный визит к тебе – это счастье, можно сказать, моя единственная отрада. Надеюсь, цветы тебе нравятся. Не очень красивые, но пахнут изумительно. Я поставлю их здесь, возле твоего кресла, чтобы ты мог ими любоваться. Отсюда чудесный вид на поля, на Танн, вдалеке блестит лента Гаронны. И кажется, будто мы совсем одни. О, я не жалею. Вовсе нет. Просто одному человеку тяжело нести такое бремя. Все их мелкие заботы, обиды, глупость, тысячи банальных проблем...

Во вторник у нас был карнавал. Они танцевали и кричали, как самые настоящие дикари. Клод, младший сын Луи Перрена, выстрелил в меня из водяного пистолета. И как, думаешь, отреагировал его отец? Сказал, что сын маленький и ему хочется немного поиграть. Я же, топ рёге, всеми помыслами стремлюсь наставить их на путь истинный, избавить от греха. Но они сопротивляются на каждом шагу, словно дети малые, из прихоти отвергают здоровую пищу, продолжая есть то, от чего их тошнит.

Я знаю, ты понимаешь меня. Ты сам пятьдесят лет безропотно и с достоинством нес эту ношу. И завоевал их любовь. Неужели времена так сильно изменились? Здесь меня боятся, уважают... но вот любят ли? Нет. Лица угрюмые, недовольные. Вчера уходили со службы, посыпав голову пеплом, а в лицах читалось виноватое облегчение. Возвращались к своим тайным пристрастиям и порокам уединения. Они что, не понимают? Господь все видит. Я все вижу. Поль-Мари Мускат бьет жену. Благодично исповедуется каждую неделю, читает в наказание десять молитв Святой Деве – и вновь за свое. Его жена – воровка. На прошлой неделе пошла на рынок и украла с прилавка дешевую побрякушку. Гийом Дюплесси постоянно спрашивает, есть ли у животных душа, и плачет, когда я говорю, что нет. Шарлотта Эдуард подозревает, что у ее мужа есть любовница. Я знаю, что у него их целых три, но вынужден хранить тайну исповеди.

Какие же они все дети! Своими вопросами они бесят меня и сводят с ума. Но я не вправе выказывать слабость. Овцы – отнюдь не покорные безобидные существа, как в идиллических пасторальных. Это вам любой селянин подтвердит. Овцы хитры, порой жестоки и патологически глупы. И у снисходительного пастыря нередко дерзки и непокорны. Поэтому я неизменно с ними строг. И только раз в неделю позволяю себе немного расслабиться. Твои губы плотно сомкнуты, топ рёге, как на исповеди. Но сердце у тебя доброе, и ты всегда готов меня выслушать. На один час я могу скинуть свое бремя. И обнажить свое несовершенство.

У нас появилась новая прихожанка. Некая Вианн Роше – полагаю, вдова – с маленькой дочкой. Помнишь пекарню старика Блэро? Он умер четыре года назад, и с тех пор его дом стоял в запустении. Так вот, она арендовала эту пекарню и надеется открыть ее к концу недели. Думаю, ее заведение просуществует недолго. У нас уже есть пекарня Пуату, на другой стороне площади. И к тому же она здесь не приживется. Приятная женщина, но с нами у нее нет ничего общего. Не пройдет и двух месяцев, как опять сбежит в большой город. Там ей самое место. Забавно, но я ведь так и не выяснил, откуда она родом. Очевидно, парижанка, а может, из-за границы приехала. Говорит без акцента – пожалуй, даже слишком чисто для француженки. Гласные отрывистые, как у северян, но в глазах есть что-то от итальянцев или португальцев, а кожа...

Впрочем, я ее почти не видел. Вчера целый день и сегодня она наводила порядок в пекарне. Витрина прикрыта куском оранжевого пластика. Время от времени она сама или ее маленькая дочка-дикарка выбегают на улицу, опорожняют в канаву ведро помоев или дружелюбно перебрасываются парой слов с кем-нибудь из рабочих. Меня поражает ее умение договариваться с людьми. Я предложил ей свои услуги в качестве посредника, но сомневался, что

найду желающих помочь. И вдруг рано утром вижу, как Клермон несет ей доски, а следом Порсо со своими лестницами. Пуату снабдил ее кое-какой мебелью. Я видел, как он тащил через площадь кресло и все время озирался, будто боялся, что его заметят. Даже сварливый брюзга Нарсисс пошел со своим инвентарем облагораживать ее садик, хотя в ноябре, когда я попросил его вскопать газон на кладбище, он сухо отказался.

Сегодня утром примерно в восемь сорок к ее лавке подъехал грузовой фургон. Мимо проходил Дюплесси, он обычно в это время выгуливает собаку. Она окликнула его, попросила помочь с выгрузкой. Дюплесси оторопел, так и не донеся руку до шляпы, – я был почти уверен, что он откажет. Потом она что-то сказала – я не расслышал – и звонко рассмеялась. Вообще она много смеется и неумеренно, комично жестикулирует. Тоже, видимо, черта, присущая жителям больших городов. Мы здесь привыкли общаться сдержаннее, но, надо думать, она не имеет в виду ничего дурного. Голову она по-цыгански обмотала фиолетовым шарфом, однако волосы выбились, на них белая краска. Ее это, по-видимому, не смущало. Позже Дюплесси не смог припомнить ее слова – промямлил только, что его это ничуть не затруднило, всего несколько коробок, довольно тяжелых, хотя и маленьких, и открытых ящиков с кухонной утварью. Что в коробках, он не спросил, но в пекарном производстве, считает он, с такими скудными запасами далеко не продвинешься.

Не подумай, *mon rège*, будто я все дни напролет только и делаю, что наблюдаю за пекарней. Просто она почти напротив моего дома – того самого, *mon rège*, что прежде принадлежал тебе. Весь минувший день и половину сегодняшнего в пекарне стучали молотками, красили, белили и скоблили – даже меня разобрало невольное любопытство. Мне не терпится посмотреть на результат. И я не одинок в своем желании. Я слышал, как мадам Клермон самодовольно судачила с приятельницами о мужниной работе возле лавки Пуату. Они говорили о «красных ставнях», а потом заметили меня и тут же притихли, зашептались. Будто мне есть дело до их пересудов. А новоприбывшая, безусловно, дает богатую пищу для сплетен, если не сказать больше. Оранжевая витрина так и притягивает взоры. Словно огромная конфета, с которой хочется содрать фантик, случайно залежавшийся соблазнительный ломоть карнавала. Есть что-то тревожное в этом ярком куске пластика, в том, как он сверкает на солнце. Я буду счастлив, когда ремонт завершится и бывшая пекарня вновь станет пекарней.

На меня многозначительно поглядывает медсестра. Она считает, я тебя утомляю. И как только ты их выносишь? Их громкие голоса, воспитательские замашки? «А теперь нам пора отдыхать». Ее игривость раздражает, режет слух. Она желает добра, говорят твои глаза. «Не сердись на них, они знают, что делают». А вот я не добрый. Я пришел сюда не тебя утешать – самому утешиться. И все же мне хочется верить, что мои визиты радуют тебя, вносят свежую струю в твою жизнь, что превратилась в вялое, бесцветное прозябание. По вечерам телевизор, час в день, смена положения пять раз в день, кормление через трубочку. О тебе говорят как о неодушевленном предмете: «Думаешь, он нас слышит? Понимает что-нибудь?» Твое мнение никому не интересно, тебя даже не спрашивают... Ты живешь в полной изоляции, но по-прежнему чувствуешь, думаешь... Вот он, истинный ад, голый ужас, без наносной цветистости средневековых представлений. Полнейшая изоляция. И все же я обращаюсь к тебе: научи, как выйти к людям. Научи надежде.

4

14 февраля, пятница День святого Валентина

Мужчину с собакой зовут Гийом. Вчера он помог мне занести в дом багаж, а сегодня утром стал моим первым посетителем. Пришел вместе со своим псом Чарли. Поприветствовал с застенчивой учтивостью, почти по-рыцарски.

– Мило у вас здесь, – сказал он, оглядевшись. – Наверное, всю ночь трудились.

Я рассмеялась.

– Просто чудесное превращение, – добавил Гийом. – Не знаю почему, но я думал, вы собираетесь открыть у нас еще одну пекарню.

– Чтобы пустить по миру беднягу мсье Пуату? С его-то больной поясницей и несчастной женой-инвалидом, которая и по ночам не спит? Уж он был бы мне благодарен по гроб жизни.

Гийом нагнулся, поправляя на Чарли ошейник, но я заметила веселый блеск в его глазах.

– Значит, вы уже познакомились?

– Да. Я дала ему рецепт ячменного отвара от бессонницы.

– Если поможет, он на всю жизнь станет вам добрым другом.

– Поможет, – заверила я. Потом сунула руку под прилавок и вытащила розовую коробку с серебряным бантиком. – Держите. Это вам. Моему первому посетителю.

Гийом, кажется, чуточку перепугался.

– Ну что вы, мадам, я...

– Зовите меня Вианн. И я не приму отказа. – Я сунула коробочку ему в руки. – Вам понравится. Это ваши любимые.

– Откуда вы знаете? – спросил он с улыбкой, осторожно убирая подарок в карман плаща.

– Да вижу, – лукаво сказала я. – Я про всех знаю, кто что любит. Это вам и нужно, поверьте мне.

Вывеска была готова только к полудню. Жорж Клермон, без конца извиняясь за опоздание, собственноручно ее прибавал. Красные ставни изумительно смотрелись на фоне свежей побелки, и Нарсисс, беззлобно сетуя на поздние заморозки, рассадил в моих горшках герань из своей теплицы. Я вручила обоим по нарядной коробочке к Дню святого Валентина и отослала – озадаченных, но счастливых. После толком никто не заходил, не считая нескольких ребятишек. Так оно обычно и бывает с новыми лавками в маленьких городках: действует строгий этикет, и местные сдержанны, якобы равнодушны, хотя в душе сгорают от любопытства. Заглянула пожилая женщина в черном платье – традиционном одеянии местных вдов. Мужчина с красно-коричневым лицом купил три одинаковые коробочки, даже не поинтересовавшись, что в них лежит. Потом несколько часов никого. Как я и ожидала. Нужно время, чтобы привыкнуть к новому. Кое-кто бросал пристальные взгляды на витрину, однако переступить порог не осмелился никто. За напускным равнодушием я улавливала смятение, шепотки, колыхание штор, подготовку к решительному шагу. Наконец они пришли. Сразу целой компанией. Семь-восемь женщин, среди них Каролина Клермон – жена Жоржа Клермона, смастерившего мне вывеску. Девятая, шедшая в хвосте группы, осталась на улице. Я узнала в ней женщину в клетчатом плаще. Она стояла у витрины, почти касаясь лицом стекла.

Посетительницы жадно рассматривают все, хихикают, мнутя, восторгаются своей проделкой, будто шкодливые школьницы.

– И вы все это сама делаете? – спрашивает Сесиль, хозяйка аптеки на главной улице.

– Надо бы воздержаться, – говорит Каролина, пухлая блондинка в пальто с меховым воротником. – Как-никак Великий пост.

– Я никому не скажу, – обещаю я. Потом, глянув на женщину в клетчатом плаще, которая так и стоит у витрины: – А ваша приятельница почему не заходит?

– Она вовсе не с нами, – отвечает Жолин Дру, женщина с заостренными чертами лица; она преподает в местной школе. – Это Жозефина Мускат, – добавляет она, мельком глянув на квадратное лицо за стеклом. В голосе сквозит презрительная жалость. – Вряд ли она войдет.

Жозефина, будто услышав, чуть покраснела и нагнула голову, зарывшись подбородком в воротник. Она как-то странно прижимала руку к животу, будто оборонялась. Уголки рта навечно опущены; губы шевелились, нашептывая то ли молитву, то ли проклятия.

Я стала обслуживать женщин – белая коробочка, золотая ленточка, два бумажных рожка, розочка, розовый бантик с сердечком, – а они ахали и смеялись. Жозефина Мускат у витрины что-то бормотала, раскачиваясь и прижимая к животу неуклюжие кулаки. Когда я занялась последней покупательницей, Жозефина вызывающе вскинула голову и вошла. Последний заказ оказался большим и сложным. Мадам желала *вот только* это, да еще то, то, то и то, да в круглой коробочке, да с ленточками и цветочками, и с золотыми сердечками, и с визитной карточкой, только без надписи – тут остальные дамы в восторге шаловливо закатили глазки – хи-хи-хи-хи! – так что я едва не проглядела самое интересное. Крупные руки Жозефины удивительно проворны – огрубелые, красные руки, закаленные работой по дому. Одна прижата к животу, вторая молниеносно взлетает, словно оружие в руке опытного стрелка, и серебряный пакетик с розочкой – стоимостью в 10 франков – перемещается с полки в карман ее плаща.

Отличная работа.

Я не подаю виду, что заметила кражу, пока дамы со свертками не покинули магазин. Жозефина, теперь одна перед прилавком, с притворным интересом рассматривает товар. Осторожно крутит в нервных пальцах одну коробочку, вторую. Я закрываю глаза. Мысли ее путанные, тревожные. В моем воображении мелькает стремительная череда образов: дым, горсть блестящих безделушек, окровавленный палец. За всем этим кроется трепетный страх.

– Мадам Мускат, помочь вам что-нибудь выбрать? – Голос у меня спокойный, любезный. – Или просто посмотреть зашли?

Она бормочет что-то нечленораздельное, поворачивается к дверям.

– По-моему, у меня есть то, что вам понравится.

Я достаю из-под прилавка серебряный пакетик – такой же, какой она украла, только больше, – перетянутый белой лентой с желтыми цветочками. Она глядит испуганно, уголки большого не улыбочивого рта опускаются еще ниже. Я придвигаю к ней пакетик.

– За счет магазина, Жозефина, – ласково говорю я. – Берите, не бойтесь. Это ваши любимые.

Жозефина Мускат поворачивается и выбегает из магазина.

5

15 февраля, суббота

Я знаю, *mon père*, что пришел не в свой обычный день. Но мне нужно высказаться. Вчера открылась пекарня. Только это не пекарня. Когда я проснулся вчера в шесть, обертку с фасада уже сняли, навес и ставни на месте, над витриной поднят козырек. Некогда обычный невзрачный старый дом, как все дома вокруг, теперь сиял, словно конфетка в красно-золотистом фантике на ослепительно белом столе. На окнах горшки с красной геранью. Поручни оплетены гирляндами из гофрированной бумаги. А над входом дубовая вывеска с черной надписью:

ШОКОЛАДНАЯ «НЕБЕСНЫЙ МИНДАЛЬ»

Бред, да и только. У подобного заведения, наверное, отбоя бы не было от покупателей в Марселе, в Бордо или даже в Ажене, где с каждым годом все больше туристов. Но в Ланскне-сунтанн? Да еще в первые дни Великого поста, традиционной поры воздержания? Святотатство, быть может преднамеренное.

Утром я рассмотрел витрину. На белой мраморной полке ряды бесчисленных коробочек, пакетиков, серебряных и золотых бумажных рожков, розеток, бубенчиков, цветочков, сердечек, длинных завитков разноцветных лент. В стеклянных колокольчиках и на блюдах – шоколад, жареный миндаль в сахаре, «соски Венеры», трюфели, *mendiants*, засахаренные фрукты, гроздья лесного ореха, шоколадные ракушки, засахаренные лепестки роз и фиалки... Прячась от солнца за половинчатые жалюзи, они мерцают всеми оттенками темного, будто сокровища в морской пучине, драгоценности в пещере Аладдина. А в самом центре она возвела пышное сооружение – пряничный домик. Сдобные стены облицованы шоколадом, увиты необычными глазированными и шоколадными лозами, лепнина из серебряной и золотой глазури, крыша из вафельной черепицы усеяна засахаренными плодами, в шоколадных деревьях поют марципановые птицы... Там же ведьма собственной персоной – вся из черного шоколада от верхушки колпака до подола длинной накидки – верхом на помеле, которым служит ей гигантский *guimauve*, длинный корявый стебель алтея, наподобие тех, что свисают с уличных лотков на карнавале...

Из окна я вижу ее витрину – глаз, полуприкрытый в лукавом заговорщицком прищуре. Из-за этого магазина, торгующего соблазнами, Каролина Клермон нарушила Великий пост. Сама призналась мне вчера на исповеди. Слушая ее захлебывающийся писклявый голосок, я не верил, что она готова искренне раскаяться.

– О, *mon père*, мне так стыдно! Но что я могла поделать? Эта очаровательная женщина так любезна. Я хочу сказать, я даже не понимала, что творю, спохватилась, когда уже было поздно. А ведь если кто и должен отказаться от шоколада... Мои бедра за последние два года растолстели до безобразия, хоть ложись и помирай...

– Две молитвы Деве.

Господи, что за женщина! Ее глаза полнятся обожанием и буквально пожирают меня через решетку.

– Конечно, *mon père*, – разочарованно тянет она, якобы опечаленная моим резким тоном.

– И помните, почему мы соблюдаем Великий пост. Не для того, чтобы потешить собственное тщеславие или произвести впечатление на друзей. И не ради того, чтобы летом влезть в дорогие модные одежды.

Я намеренно жесток. Она этого хочет.

– Да, вы правы, я тщеславна. – Она всхлипывает, уголком батистового платка промокает слезинку. – Тщеславная, глупая женщина.

– Помните Господа нашего. Его жертву. Его смирение.

В нос бьет запах ее духов, какой-то цветочный аромат, в темном закутке тесно, запах слишком насыщенный. Может, она пытается ввести меня в искушение? Если так, зря старается: меня не проймешь.

– Четыре молитвы Деве.

Во мне говорит отчаяние. Оно подтачивает душу, разъедает клеточка за клеточкой, как летучая пыль и песок разрушают храм, годами оседая на его камнях. Оно подрывает во мне решимость, отравляет радость, убивает веру. Я хотел бы вести их через испытания, через тернии земного пути. Но с кем я имею дело? День за днем передо мной проходит вялая процессия лжецов, мошенников, чревоугодников, презренных людишек, погрязших в самообмане. Вся борьба добра со злом сведена к толстухе, изводящей себя жалкими сомнениями перед шоколадной лавкой: «Можно? Или нельзя?» Дьявол труслив: он не открывает лица. Не имеет сущности, распылен на миллионы частичек, что коварными червоточинами проникают в кровь и душу. Мы с тобой, топ рège, родились слишком поздно. Меня тянет к суровой добродетельной поре Ветхого Завета. Тогда все было просто и ясно. Сатана во плоти ходил среди нас. Мы принимали трудные решения, жертвовали детьми нашими во имя Господа. Мы любили Бога, но еще больше боялись Его.

Не думай, будто я виню Вианн Роше. На самом деле ей вообще нет места в моих мыслях. Она – лишь одно из проявлений зла, с которыми я должен бороться изо дня в день. Но как подумаю о лавке с нарядным навесом, насмешка над воздержанием, над верой... Встречая прихожан у церкви, я краем глаза ловлю движение за витриной. «Попробуй меня. Отведай. Вкуси». В минуты затишья между псалмами я слышу, как гудит фургон, остановившись перед шоколадной. Читая проповедь – проповедь, топ рège! – я замолкаю на полуслове, потому что слышу шуршание фантиков...

Утром моя проповедь была суровее обычного, хотя народу пришло мало. Ничего, завтра они поплатятся. Завтра, в воскресенье, когда все магазины закрыты.

6

15 февраля, суббота

Уроки сегодня закончились рано. К полудню улицу заполнили ковбои и индейцы в ярких куртках и джинсах – маленькие прячут учебники в ранцы или портфели, большие прячут в ладонях сигареты. Проходя мимо лавки, те и другие вроде как равнодушно косятся над поднятыми воротниками на витрину. Я замечаю мальчика в сером пальто и берете – подтянут, собран; школьный ранец идеально ровно сидит на детских плечиках. Мальчик идет один. У «Небесного миндаля» замедляет шаг, разглядывая витрину, но свет от стекла отражается, и я не вижу лица. Рядом останавливаются четверо ребяташек, ровесников Анук, и мальчик спешит удалиться. К витрине прижимаются два носа, потом все четверо пятятся и начинают выворачивать карманы, подсчитывая ресурсы. С минуту решают, кого послать в магазин. Я делаю вид, что занята за прилавком.

– Мадам?

На меня подозрительно таращится чумазое личико. Я узнаю Волка с карнавального шествия.

– Сразу видно, что ты любитель карамели с арахисом, – говорю я серьезно, ибо покупка конфет – серьезное дело. – Хороший выбор. Легко поделиться, в карманах не тает, и стоит вот такой большой набор, – я показываю руками, – всего-то пять франков. Верно?

Вместо улыбки мальчик кивает, как деловой человек деловому человеку. Его монетка теплая и чуть липкая. Он осторожно берет с прилавка пакетик и заявляет важно:

– Мне нравится пряничный домик. Тот, что в витрине.

Его друзья робко кивают от дверей, где стоят, прижимаясь друг к другу для храбрости.

– Круто.

Жаргонное словечко он произносит смачно, с вызовом, словно тайком закуливает.

– Очень круто, – улыбаюсь я. – Если хочешь, приходи сюда с друзьями, когда я уберу дом с витрины. Помогите мне его съесть.

Он таращит глаза.

– Круто!

– Супер!

– А когда?

Я пожимаю плечами.

– Я скажу Анук, она вам передаст. Анук – моя дочь.

– Мы знаем. Мы ее видели. Она не ходит в школу.

Последняя фраза произнесена с завистью.

– В понедельник пойдет. Жалко, что у нее тут пока нет друзей, – я ей разрешила их пригласить. Помочь мне украсить витрину.

Шаркают подошвы, липкие ладошки тянутся вверх, ребята пихаются и толкаются.

– Мы можем...

– Я могу...

Я – Жанно...

– Клодин...

– Люси...

На прощание я подарила каждому по сахарной мышке и смотрела, как они рассеялись по площади, словно пушинки одуванчика на ветру. Одна за другой их куртки полыхнули на солнце – красный, оранжевый, зеленый, голубой, – и вот они скрылись из виду. Я заметила в тени арки на площади Святого Иеронима священника Франсиса Рейно. Он наблюдал за детьми с любопытством и, по-моему, с осуждением во взоре. Вот ведь странно. Чем он недоволен?

Он не заходил в лавку с тех пор, как засвидетельствовал свое почтение в наш первый день в городе, но я много о нем слышала. Гийом говорил о нем почтительно, Нарсисс – раздраженно, Каролина – кокетливо, с озорным лукавством, к которому, я подозреваю, она обычно прибегает, ведя речь о любом мужчине не старше пятидесяти. Они отзываются о нем без теплоты. Насколько я понимаю, он не местный, выпускник парижской семинарии. Весь его жизненный опыт – из книг, он не знает этого края, его нужд, его потребностей. Это мнение Нарсисса – он враждует со священником с тех самых пор, как отказался посещать службы во время уборочной страды. Он не выносит человеческой глупости, говорит Гийом, – глаза насмешливо блестят за круглыми стеклами очков, – то есть фактически весь род людской, ибо у каждого из нас есть глупые привычки и пристрастия, от которых мы не в силах отказаться. Рассуждая, Гийом с любовью треплет Чарли по голове, и пес, будто соглашаясь, важно вторит ему коротким отрывистым лаем.

– Он считает, глупо так привязываться к собаке, – с грустью жалуется Гийом. – Как человек тактичный, вслух он этого не говорит, но думает, что я веду себя неподобающе. В моем возрасте...

Гийом, пока не вышел на пенсию, был директором местной школы, где теперь остались всего два учителя, поскольку учеников все меньше, однако многие жители постарше до сих пор называли его *maître d'école*. Глядя, как он ласково чешет Чарли за ушами, я чувствовала, что его гложет печаль, – я заметила ее еще на карнавале; затаенная скорбь, почти вина.

– Человек в любом возрасте вправе выбирать друзей по своему усмотрению, – с жаром перебиваю я. – Возможно, *monsieur le curé* не мешало бы и самому поучиться у Чарли.

Опять та же добрая грустная полуулыбка.

– *Monsieur le curé* старается как может, – мягко говорит Гийом. – Не надо требовать от него большего.

Я промолчала. Щедрые люди щедры во всем. В моем ремесле быстро постигаешь эту нехитрую истину. Гийом покинул «Небесный миндаль», унося в кармане пакетик вафель в шоколаде. На углу улицы Вольных Граждан он наклонился и угостил вафлей Чарли. Погладил пса; тот гавкнул, вильнул кучим хвостом. Говорю же: некоторые люди щедры, не задумываясь.

Городок уже не кажется мне чужим. Его обитатели тоже. Я начинаю узнавать лица, имена; наматывается клубок первых историй, они сплетаются в пуповину, что однажды свяжет нас. Ланскне сложен, чего поначалу не скажешь по его незатейливой географии: от главной улицы, словно пальцы на руке, расходятся боковые ответвления – проспект Поэтов, улица Вольных Граждан, переулок Революционного Братства; очевидно, кто-то из устроителей города был ярым приверженцем Республики. И все эти пальцы тянутся к площади Святого Иеронима, где поселилась я. Тут среди лип гордо возвышается белая церковь, погожими вечерами старики играют в шары прямо на красных булыжниках. За площадью в низине лежит район с собирательным названием Марод¹ – переплетение узких улочек, скопление глухих покосившихся деревянно-кирпичных домишек, что пятятся к Танну по неровной мостовой. Трущобы Ланскне. Они подступают к самому болоту. Некоторые дома стоят прямо на реке, на гниющих деревянных платформах. Десятки других теснятся вдоль каменной набережной; длинные шупальца сырого смрада тянутся от стоячей воды к окошкам под самыми крышами. В городах вроде Ажена такой вот причудливый, по-деревенски неказистый, разлагающийся Марод стал бы местом паломничества туристов. Но в Ланскне туристов нет. Обитатели Марода – мусорщики, они живут на то, что удастся выудить из реки. Здесь почти все дома заброшены, из просевших стен прорастают старые деревья.

¹ От *les marauds* (фр.) – презренные.

В обед я на два часа закрыла «Небесный миндаль», и мы с Анук отправились к реке. У самой воды барахтались в зеленой грязи двое тощих ребятишек. Здесь даже в феврале стоит сочная сладковатая вонь гнили и нечистот. День выдался холодный, но солнечный. Анук, в красном шерстяном плаще и шапке, носилась по камням, громко беседуя с Пантуфлей, скачущим за ней по пятам. Я уже настолько привыкла к Пантуфлю – как, впрочем, и к другим сказочным бродяжкам, следующим за Анук незримыми тенями, – что порой мне кажется, я почти вижу его – странное существо с серыми усами и мудрыми глазами, и дивная метаморфоза неожиданно расцветивает мир, и я превращаюсь в Анук – смотрю ее глазами, хожу там, где ходит она. В такие минуты я чувствую, что могу умереть от любви к ней, моей маленькой скиталице. Мое сердце разбухает, едва не лопается, и я, чтоб и впрямь не умереть от избытка чувств, тоже бегу со всех ног, и мой красный плащ развевается за плечами, будто крылья, волосы струятся за спиной, как хвост кометы в клочковатом синем небе.

Дорогу мне перебежал черный кот. Я остановилась и затанцевала вокруг него против часовой стрелки, напевая:

Où-ti-i, mistigri?
Passe sans faire de mal ici.²

Анук подпевала мне, кот с урчанием повалился в пыль и перевернулся на спину, требуя, чтобы его погладили. Я наклонилась к нему и заметила щуплую старушку – она с любопытством наблюдала за мной из-за угла. Черная юбка, черный плащ, заплетенные в косу седые волосы уложены на голове в аккуратный сложный узел, глаза внимательные и черные, как у птицы. Я кивнула ей.

– Ты – хозяйка chocolaterie, – сказала она.

Несмотря на возраст – лет восемьдесят, должно быть, если не больше, – у нее звучный, резкий и оживленный голос южанки.

– Да, верно.

Я назвала себя.

– Арманда Вуазен, – представилась старушка. – А вон мой дом. – Она кивком показала на один из домиков у реки – опрятнее остальных, со свежей побелкой и алой геранью в ящиках за окнами. Потом улыбнулась, отчего ее розовое кукольное личико собралось в миллионы морщинок. – Я видела твой магазин. Симпатичный. Это ты молодец, постаралась. Только он не про нас. Чересчур броский. – В ее тоне не было неодобрения – только ироничная обреченность. – Я слышала наш m'sieur le curé уже против тебя ополчился, – язвительно добавила она. – Надо полагать, он считает, что шоколадной не подобает стоять на его площади. – Вновь посмотрела насмешливо, вопросительно: – Ему известно, что ты ведьма?

Ведьма, ведьма. Слово неверное, но я поняла, о чем она.

– Почему вы так решили?

– О, это же очевидно. Рыбак рыбака видит издалека. – Смех – точно какофония взбесившихся скрипок. – M'sieur le curé не верит в чудеса, – сказала она. – По правде говоря, я подозреваю, что он и в Бога не верит. – Ее голос полон снисходительного презрения. – Хоть и имеет диплом богослова, а ему еще учиться и учиться. И моей глупой дочери тоже. В институтах ведь жизни не учат, а?

Я согласилась и спросила, знаю ли ее дочь.

– Да уж думаю. Каро Клермон. Безмозглая финтифлюшка, глупее не сыскать во всем Ланскне. Говорит, говорит, говорит, – и хоть бы слово разумное сказала.

Увидев, что я улыбаюсь, она весело кивнула.

² Киска, киска, ты куда? Проходи, не делай зла (фр.).

– Не беспокойся, дорогая, меня в моем возрасте уже ничем не оскорбить. А она вся в отца. Великое утешение. – Старушка вгляделась в меня. – Здесь мало чем можно поразвлечься, – заметила она. – Особенно в старости. – Она помолчала, всмотрелась пристальнее. – Но пожалуй, с тобой мы все же позабудемся.

Ее голова коснулась моей, и меня словно обдало свежим дыханием. Я попыталась уловить ее мысли, понять, не издевается ли она, но поймала только доброту и веселье.

– Я просто торгую шоколадом, – с улыбкой сказала я.

Арманда Вуазен фыркнула.

– Да ты, я вижу, и впрямь решила, будто я только вчера родилась.

– В самом деле, мадам Вуазен...

– Зови меня Армандой. – Черные глаза заискрились смехом. – Так я чувствую себя моложе.

– Хорошо. Но я в самом деле не понимаю...

– Я знаю, каким ветром тебя занесло, – перебила она. – Сразу почувствовала. Ты пришла с карнавалом. В Мароде полно карнавальных: цыгане, испанцы, бродячие ремесленники, выходцы из Алжира, прочий сброд. Я вас сразу узнала – тебя и твою малышку. Как теперь вы себя называете?

– Вианн Роше, – улыбнулась я. – А это Анук.

– Анук, – ласково повторила Арманда. – А твой серенький дружок – зрение у меня теперь не такое острое, как прежде, – кто он? Кот? Бельчонок?

Анук качнула кудрявой головой и с бодрым пренебрежением доложила:

– Это кролик. И зовут его Пантуфль.

– Ах, кролик. Ну конечно же. – Арманда лукаво подмигнула мне. – Видишь, я знаю, каким ветром вас занесло. Я и сама пару раз ощущала его дыхание. Может, я и стара, но меня никому не одурачить. Никому.

Я кивнула.

– Может, и так. Приходите как-нибудь в «Миндаль». Я знаю, кто какие лакомства любит. И вас угощу вашими любимыми. Получите большую коробку.

Арманда рассмеялась.

– О, шоколад мне нельзя. Каро и этот врач-недоумок запрещают. Как, впрочем, и все остальное, что меня радует, – усмехнулась она. – Сначала запретили курить, потом пить, теперь это... Бог знает, наверное, еще надо бы перестать дышать, тогда, глядишь, буду жить вечно. – Она хохотнула, но как-то устало, прижала руку к груди – и мне стало жутко: я вспомнила Жозефину Мускат. – Я их не виню, – продолжала Арманда. – Они так живут. От всего защищаются. От жизни. От смерти. – Она улыбнулась и вдруг стала похожа на проказливого сорванца, несмотря на морщины. – Пожалуй, я к тебе все равно зайду, – сказала она. – Хотя бы для того, чтоб досадить кюре.

Она скрылась за углом своего беленого дома, а я задумалась над ее последней фразой. Анук неподалеку швыряла камни на обнажившийся берег у самой кромки воды.

Кюре. Кажется, я только о нем и слышу. Я стала размышлять о Франсисе Рейно.

Так уж порой случается, что в городках вроде Ланскне тон всему обществу задает один человек – школьный учитель, владелец кафе или священник. Человек этот – сердцевина механизма, вращающего ход жизни. Как пружина в часах приводит в движение колесики, что крутят другие колесики, заставляют стучать молоточки и перемещают стрелки. Если пружина соскочит или сломается, часы остановятся. Ланскне – как сломанные часы: стрелки неизменно показывают без минуты полночь, колесики и зубчики вхолостую вращаются за угодливым никчемным циферблатом. Поставь на церковных часах неправильное время, если хочешь провести дьявола, говорила моя мама. Но тут, я подозревала, дьявол не поддастся обману.

Ни на минуту.

7

16 февраля, воскресенье

Моя мать была ведьмой. По крайней мере, называла себя ведьмой, а частенько искренне в это верила, так что в конце концов уже нельзя было определить, притворяется она или колдует по-настоящему. Арманда Вуазен чем-то напоминала ее: блестящие коварные глаза, длинные волосы, некогда, вероятно, иссиня-черные и блестящие, мечтательность вкупе с цинизмом. От матери я научилась всему, из чего я создана. Искусству обращать поражение в успех, вытягивать вилкой пальцы, дабы отвести беду, шить саше, варить зелье, верить в то, что встреча с пауком до полуночи приносит удачу, после – несчастье... Но главное, она передала мне свою любовь к перемене мест, цыганскую непоседливость, что гнала нас скитаться по всей Европе и за ее пределами: год в Будапеште, следующий – в Праге, полгода в Риме, четыре года в Афинах, затем через Альпы в Монако и вдоль побережья – Канны, Марсель, Барселона... К восемнадцати годам я потеряла счет городам, в которых мы жили, и языкам, на которых говорили. На жизнь мы тоже зарабатывали по-всякому: нанимались официантками, переводчиками, ремонтировали машины. Иногда покидали дешевые отели, где останавливались на одну ночь, через окно, не оплатив счет. Ездили на поездах без билетов, подделывали разрешения на работу, нелегально пересекали границы. Нас депортировали бесчисленное число раз. Мать дважды арестовывали, но отпускали, не предъявив обвинения. И имена мы переименовывали на ходу, подстраиваясь под местные традиции: Янна, Жанна, Джоанн, Джованна, Анна, Аннушка... Гонимые ветром, мы, словно преступники, постоянно находились в бегах, переводя громоздкий жизненный багаж в франки, фунты, кроны, доллары...

Не думайте, будто я страдала; в те годы жизнь была чудесным приключением. Нам было хорошо, мне и маме. В отце я никогда не нуждалась. У меня было много друзей. И все же, видимо, эта неустроенность – вечные скитания, необходимость постоянно экономить – порой угнетала ее. Но мы продолжали мерить дороги, с годами все быстрее – задерживались в одном месте на месяц, в крайнем случае на два, а потом вновь пускались в путь, точно изгнанники в погоне за последними лучами солнца. Лишь через много лет я поняла, что убегали мы от смерти.

Ей было сорок. Она умирала от рака. Она уже давно знает, призналась она, но в последнее время... Нет, в больницу она не ляжет. Никаких больниц, ясно? Ей осталось жить считанные годы, может, месяцы, а она еще хочет посмотреть Америку: Нью-Йорк, флоридский парк Эверглейдс... Теперь мы почти каждый день проводили в дороге. Мать по ночам, думая, что я сплю, гадала на картах. В Лиссабоне мы сели на пароход – нанялись работницами на кухню. Освобождались в два-три часа ночи, поднимались с рассветом. И что ни ночь – карты. Засаленные от времени и почтительного прикосновения пальцев, они ложились на койку. Мама тихо бубнила себе под нос их названия, день ото дня все глубже погружаясь в пучину путаного бреда, который в конечном итоге завладел ею полностью. «Десятка мечей, смерть. Тройка мечей, смерть. Двойка мечей, смерть. Колесница. Смерть».

Колесницей оказалось нью-йоркское такси, когда однажды летним вечером мы закупами продукты на загроможденных улочках китайского квартала. Уж лучше такси, чем рак.

Спустя девять месяцев родилась моя дочь, и я назвала ее в честь себя и матери. Сочла, что это самое подходящее имя. Ее отец о ней даже не подозревал, да я и сама точно не знаю, от которого из увядшего венка любовников я зачала. Но это не имело значения. Можно было бы очистить яблоко в полночь и, бросив кожуру через плечо, выяснить инициалы отца моей дочери, но меня это никогда не интересовало. Лишний балласт только тормозит.

И все же... Разве не ослабили ветры, не стали дуть реже, с тех пор как я покинула Нью-Йорк? Разве не щемит сердце, разве не сожалею я смутно всякий раз, когда мы вновь срываемся с места? Да, пожалуй. Двадцать пять лет скитаний, и вот наконец пружина во мне начала изнашиваться, я теряю задор, как мать растеряла в последние годы. Иногда я ловлю себя на том, что смотрю на солнце и пытаюсь представить, каково это – наблюдать восход над одним и тем же горизонтом пять лет, или десять, или двадцать. При этой мысли у меня странно кружится голова, мною овладевают страх и тоска. А Анук, моя маленькая бродяжка? Теперь, когда я сама мать, наша жизнь, полная рискованных приключений, видится мне в несколько ином свете. Я вспоминаю себя в детстве: смуглая девочка с длинными растрепанными волосами, в обносках из магазинов для бедных, на своей шкуре постигала математику, постигала географию – сколько хлеба дадут на два франка? как далеко уедешь на поезде, заплатив за билет пятьдесят марок? – и понимаю, что не хочу для Анук такой судьбы. Может, поэтому последние пять лет мы не покидаем Франции. Впервые в жизни у меня появился счет в банке. Появилось собственное дело.

Моя мать презирала бы меня за это. Но наверное, и завидовала бы. Отрешишь от себя, если можешь, сказала бы она мне. Забудь, кто ты есть. Не вспоминай, пока хватает сил. Но однажды, девочка моя, однажды оно тебя настигнет. Уж я-то знаю.

Сегодня шоколадная открыта, как всегда. Только до обеда – вторую половину дня провожу с Анук, – но утром в церкви служба, и на площади будет народ. Вновь воцарился унылый февраль: холодная морось выкрасила мостовые и небо в цвет старой оловянной тарелки. Анук за прилавком читает книжку с детскими стишками, следя за дверью вместо меня, пока я готовлю на кухне *mendiants* – «нищих»; они так называются потому, что в стародавние времена ими торговали на улицах бедняки и цыгане. Это мое любимое лакомство – кружочки черного, молочного или белого шоколада, а сверху тертая лимонная цедра, миндаль и пухлые ягоды изюма сорта малага. Анук любит белые *mendiants*, а я предпочитаю черные, из лучшей семидесятипроцентной шоколадной глазури... Приятная горечь неведомых тропиков. Моя мать и это бы презирала. И все-таки я тоже творила волшебство.

За те два дня, что прошли с пятницы, я купила и поставила у прилавка высокие табуреты, и теперь интерьер «Миндаля» смахивает на дешевые кафе, куда мы частенько наведывались в Нью-Йорке, – веселенький китч. Красные кожаные сиденья, хромированные ножки, стены цвета нарциссов, из угла весело подмигивает старое оранжевое кресло Пуату. Слева – меню. Анук сама написала и раскрасила в оранжевый и красный.

Горячий шоколад – 5 франков

Шоколадный пирог – 10 франков (кусок)

Пирог я испекла вечером, котелок горячего шоколада в печи дожидается первого посетителя. Такое же меню я повесила в витрине – чтобы видно было с улицы. Я жду.

Служба в церкви началась и окончилась. Я смотрю, как прихожане угрюмо бредут под холодной моросью. Дверь в шоколадную чуть приоткрыта, на улицу струится жаркий запах выпечки и сладостей. Кое-кто бросают тоскливые взгляды на источник аромата, но тут же украдкой глядят на церковь, пожимают плечами, кривят губы – то ли решимость, то ли просто раздражение – и спешат мимо, сутуля на ветру понурые плечи, будто вход в шоколадную им преграждает ангел с огненным мечом.

Время, говорю я себе. На это нужно время.

И все же накатывает нетерпение, почти гнев. Что на этих людей нашло? Почему не заходят? Часы бьют десять, одиннадцать. Через площадь я вижу, как люди исчезают в дверях булочной и спустя несколько минут вновь появляются с батонами под мышками. Дождь прекратился, но небо по-прежнему серое. Половина двенадцатого. Те немногие, кто задержался на площади,

расходятся по домам готовить воскресный обед. Мальчик с собакой огибает церковь, старательно уклоняясь от капель из желобов. Проходит мимо, едва удостоив взглядом витрину.

Будь они все прокляты. А я-то уже поверила, что начинаю приживаться здесь. Почему они не заходят? Ослепли, что ли? Или, может, у них носы заложило? Что еще мне сделать?

Анук всегда улавливает мое настроение. Подходит, обнимает меня.

– Не плачь, маман.

Я не плачу. Я никогда не плачу. Ее волосы щекожут мне лицо, и у меня неожиданно темнеет в глазах от страха, что однажды я могу ее потерять.

– Ты не виновата. Мы ведь старались. Все сделали как надо.

Совершенно верно. Вплоть до красных лент на двери и саше с кедром и лавандой – отвратить зло. Я целую ее в голову. На моем лице влага. Что-то – должно быть, горьковато-сладкие пары шоколада – жжет мне глаза.

– Все в порядке, *chérie*. Пусть живут как знают, нам нет до них дела. Давай лучше побалуем себя.

Мы налили себе по чашке шоколада и по примеру завсегдатаев нью-йоркских баров взгромоздились на табуреты у прилавка. Анук пьет шоколад со взбитыми сливками и шоколадной стружкой, я – горячий, черный, крепче эспрессо. Из чашек поднимается ароматный дымок, мы закрываем глаза и *видим*, как они заходят – по двое, по трое, по десять человек сразу; улыбаясь, они садятся рядом, суровая бесстрастность их лиц тает, они светятся гостеприимством и радостью. Я вздрагиваю, открываю глаза. Анук стоит у двери. Мгновение я вижу Пантуфля у нее на плече, он шевелит усами. Свет у нее за спиной будто смягчился, потеплел. Манит.

Я соскакиваю с табурета.

– Не надо, прошу тебя.

Взгляд у нее темнеет.

– Я же хочу помочь...

– Прошу тебя.

Она выдерживает мой взгляд, лицо упрямо застыло. Мы обе во власти чар, они окутывают нас золотистой дымкой. Это ведь так легко, проще простого, говорят ее глаза, словно невидимые пальцы ласкают, словно беззвучные голоса заывают посетителей...

– Нельзя. Мы не должны так делать, – пытаюсь объяснить я.

Это выделяет нас. Делает иными. Если мы хотим остаться, нужно быть как они. Пантуфль – расплывчатый усатый силуэт на фоне золотистых теней – молча умоляет меня. Я зажмуриваюсь, заслоняюсь от него, а когда вновь открываю глаза, он уже исчез.

– Ничего страшного не происходит, – твердо говорю я. – У нас все будет хорошо. Можем и подождать.

И наконец в половине первого наше терпение вознаграждено.

Анук первая заметила посетителя – «Маман!» – но я уже на ногах. Это Рейно. Одна ладонь прикрывает голову от капель с навеса, вторая висит над дверной ручкой. Бледное лицо покойно, однако в глазах что-то мерцает – затаенное удовлетворение. Я догадываюсь, что он пришел не за сладостями. Звякает колокольчик. Рейно переступает порог, но к прилавку не идет. Остается в дверях, и на ветру полы его сутаны влетают в магазин крыльями черной птицы.

– Мсье? – Он с подозрением смотрит на красные ленты. – Чем могу служить? Поверьте, я знаю, что вам нужно.

Добродушно-шутливым тоном я автоматически бросаю стандартные фразы, с которых обычно начинаю разговор с покупателями, но на сей раз лгу. Мне неведомы вкусы этого человека. Он для меня – загадка, темная человекообразная брешь в воздухе. Я не нахожу точек

соприкосновения с ним, моя улыбка разбивается об него, как волна о камень. Он меряет меня презрительным взглядом.

– Сомневаюсь.

Говорит он тихо, вкрадчиво, как и подобает священнику, но в голосе я слышу неприязнь. Мне сразу вспоминаются слова Арманды Вуазен: «Я слышала, наш m'sieur le curé уже против тебя ополчился». Интересно, почему? Инстинктивное недоверие к безбожникам? Или что-то еще? Тайком под прилавком я вытягиваю пальцы вилкой, защищаясь от него.

– Вообще-то я не ожидал, что вы будете работать сегодня.

Теперь он увереннее – думает, что разгадал нас. Крохотная улыбка – точно устрица, губы молочно-белые по краям и тонкие как бритва.

– То есть в воскресенье? – Я – само простодушие. – Я надеялась перехватить ваших прихожан, когда они толпой повалят из церкви.

Он не отреагировал на мою маленькую колкость.

– В первое воскресенье Великого поста? – Он удивлен, но за удивлением кроется презрение. – Я бы на это не рассчитывал. Жители Ланскне – простые люди, мадам Роше. Благочестивые, – мягко, учтиво подчеркивает он.

Я – *мадемуазель* Роше.

Крошечная победа, но этого достаточно, чтобы сбить с него спесь. Его взгляд метнулся к Анук – она так и сидит за прилавком с высоким бокалом шоколада, рот испачкан шоколадной пеной. И снова меня будто крапива ужалила: паника, безрассудный ужас оттого, что я могу потерять дочь. Но кто посмеет ее отнять? Нарастает гнев; я отмахиваюсь от этой мысли. Может, этот? Пусть только попробует.

– Разумеется. – Он невозмутим. – Прошу прощения, мадемуазель Роше.

Я мило улыбаюсь, догадываясь, что еще ниже пала в его глазах. Из чувства противоречия пестую его негодование; чтобы скрыть страх, говорю громче, в голосе вульгарная самоуверенность.

– Вы даже не представляете, как я рада, что встретила в этом сельском краю понимающего человека. – Я одариваю его ослепительной, чарующей улыбкой. – Видите ли, в большом городе, где мы жили, до нас никому не было дела. Но здесь... – Вид у меня удрученный, но ничуть не виноватый. – Такой чудесный городок, и люди такие услужливые, такие самобытные... Но ведь это не Париж, верно?

С едва уловимой ухмылкой Рейно соглашается.

– На мой взгляд, о провинциальном обществе говорят абсолютно справедливо, – продолжаю я. – Здесь *каждому* есть до тебя дело. Полагаю, это от недостатка развлечений, – любезно объясняю я. – Всего-то три лавки и церковь. Я хочу сказать... – Я рассмеялась. – Впрочем, что я вам рассказываю? Вы лучше меня все знаете.

Рейно серьезно кивнул.

– В таком случае объясните мне, пожалуйста, мадемуазель...

– О, зовите меня Вианн, – вставляю я.

– ...почему вы решили перебраться в Ланскне? – Его елейный тон пропитан неприязнью, тонкие губы еще больше напоминают закрытую устрицу. – Как вы верно заметили, это не Париж. – Он взглядом дает мне понять, что Ланскне во всех отношениях, безусловно, достойнее столицы. – Вам не кажется, что такой стильный, – изящной рукой он с вялым безразличием обвел интерьер шоколадной, – магазин пользовался бы большим успехом – смотрелся бы более *подобающе* – в большом городе? Уверен, в Тулузе и даже в Ажене...

Теперь я понимаю, почему никто из жителей не осмелился зайти сегодня. Слово «подобающе» обдаёт ледяным холодом, как проклятие пророка.

Я опять под прилавком выкидываю вилкой пальцы – с яростью. Рейно, будто ужаленный, шлепает себя по шее.

– По-вашему, удовольствия – это привилегия больших городов? – огрызаюсь я. – Любому необходимо иногда расслабиться, побаловать себя роскошью.

Рейно молчит. Очевидно, не согласен. Так ему и говорю.

– Полагаю, утром в церкви вы проповедовали строго противоположные принципы? – храбро осведомляюсь я. Не дождавшись ответа, прибавляю: – И все-таки я убеждена, что в этом городе хватит места для нас обоих. У нас свобода предпринимательства, не так ли?

По его лицу вижу: он понял, что я бросаю ему вызов. Я не отвожу глаза, набираюсь дерзости, набираюсь злости. Рейно отшатывается, будто я плюнула ему в лицо.

Произносит тихо:

– Разумеется.

О, подобный тип людей мне хорошо знаком. Мы с мамой вдоволь насмотрелись на них за годы скитаний по Европе. Те же любезные улыбки, презрение, равнодушие. Монетка, выпавшая из пухлой руки женщины у стен переполненного Реймского собора; молодые монахини с осуждением взирают, как маленькая Вианн – голые колени на пыльном полу – бросилась ее подбирать. Мужчина в черном в чем-то гневно, горячо убеждает мою мать; она выскочила из церкви бледная как полотно, сжимая мою руку так, что мне больно... Позже я узнала, что она пыталась ему исповедаться. Что ее подвигло? Возможно, одиночество; потребность высказаться, довериться кому-нибудь, но не любовнику. Человеку с понимающим лицом. Она что, не *видела*? Его лицо, теперь уже отнюдь не понимающее, искажено злобным негодованием. Это грех, смертный грех... Пускай оставит ребенка на попечение добрых людей. Если она любит свою маленькую – как ее зовут? Анна? – если она любит Анну, она должна – *обязана* – пойти на эту жертву. Он знает монастырь, где о ребенке позаботятся. Он знает... он схватил ее за руку, сдвинул пальцы. Она что, не любит свое дитя? Не мечтает о спасении? Неужели не любит? Неужели не желает спасения?

В ту ночь мать плакала, укачивая меня на руках. А утром мы покинули Реймс, тайком, озираясь, – хуже, чем воры. Мать крепко прижимала меня к себе, будто украденное сокровище, а у самой глаза воспаленные, взгляд как у загнанного зверя.

Я поняла, что он почти уговорил ее отказаться от меня. После она часто спрашивала, счастлива ли я с ней, не страдаю ли без друзей, без своего дома... «Да, нет, нет», – раз за разом отвечала я, целуя и убеждая ее, что не жалею ни о чем, ни о чем, однако ядовитое семя пустило корни. Многие годы бежали мы от священника, от Черного Человека, и когда лицо его временами всплывало в картах, мы вновь пускались в бега, пытаясь укрыться от черной бездны, которую он разверз в ее сердце.

И вот он опять, когда я уже думала, что мы, я и Анук, наконец-то нашли свое место под солнцем. Стоит в дверях, словно ангел у ворот.

Что ж, на этот раз, клянусь, я не побегу. Что бы он ни делал. Как бы ни настраивал против меня людей. Лицо его словно рубашка карты, предвещающей зло, – бесстрастное, категоричное. Ясно, что мы объявили друг другу войну, хоть вслух это и не высказано.

– Я так рада, что мы нашли общий язык, – говорю я звонко и холодно.

– Я тоже.

В его глазах мерцает огонек, которого я раньше не замечала. Я настораживаюсь. Вот оно что. Он доволен, радуется, что мы столкнулись лбами. Уверен, что застрахован от поражения, ни на секунду не допускает, что может проиграть.

Он поворачивается к двери. Спину держит прямо, едва заметно кивает на прощание. Ни единого лишнего жеста. Вежливое презрение. Колючее ядовитое оружие праведника.

– M'sieurle curé! – Он оборачивается, и я вкладываю ему в ладони пакетик с лентами. – Это вам. За счет заведения.

Улыбкой даю понять, что не потерплю отказа. Он смущенно принимает подарок.

– Я очень рада.

Он чуть хмурится, словно досадуя на то, что меня порадовал.

– Право, я не любитель...

– Чепуха, – живо, безапелляционно перебиваю я. – Эти вам понравятся, я просто уверена.

Они напоминают мне вас.

Внешне он спокоен, но в душе, я думаю, вздрогнул. Потом с белым пакетиком в руке вышел под унылые струи дождя. Я смотрела ему вслед. Он не побежал в укрытие. Зашагал под дождем, все так же размеренно, не бесстрастно, а всем видом показывая, что смакует даже это крошечное неудобство.

Мне хочется думать, что он съест конфеты. Хотя, скорее всего, кому-нибудь отдаст. И все же, надеюсь, он заглянет в пакетик... Одним глазком, из любопытства.

«Они напоминают мне вас».

Дюжина лучших моих huitres de Saint-Malo – крошечные плоские пралине в форме захлопнутых устриц.

8

18 февраля, вторник

Вчера – пятнадцать покупателей. Сегодня – тридцать четыре. В том числе Гийом. Он купил кулек вафель в шоколаде и чашку жидкого шоколада. Чарли, как всегда, с ним – лежит покорно под табуретом, свернувшись клубочком. Гийом время от времени наклоняется и вкладывает в его ненасытную, жаждущую угощения пасть кусочек коричневого сахара.

Нужно время, говорит мне Гийом, чтобы Ланскне принял чужака. В минувшее воскресенье, рассказывает он, кюре Гейно произнес суровейшую проповедь о воздержании, и потому многие, увидев в то утро, что «Небесный миндаль» открылся как ни в чем не бывало, сочли это оскорблением церкви. Особенно громко негодовала Каролина Клермон, в очередной раз севшая на диету. «Это возмутительно, мои дорогие, – во всеуслышание верещала она, обращаясь к своим приятельницам из церковной общины, – прямо римские оргии времен заката империи, а та женщина бог весть что о себе возомнила, прискакала в город, как царица Савская, бесстыдно щеголяет своим незаконнорожденным ребенком, будто... А, шоколад? Ничего особенного, мои дорогие, и вовсе не стоит тех денег...» В результате дамы заключили, что «это» – чем бы оно ни было – долго не продлится и через две недели меня уже не будет в городе. Но число покупателей по сравнению с минувшим днем удвоилось. Среди них – несколько закадычных подружек мадам Клермон. Немного сконфуженные, с жадным блеском в глазах, они твердят друг другу, что им просто любопытно, только и всего, просто захотелось увидеть своими глазами.

Я знаю все их любимые лакомства. Определяю их так же верно, как гадалка читает судьбу по ладони. Моя маленькая хитрость, профессиональная тайна. Мать посмеялась бы надо мной, сказала бы, что я впустую растрчиваю талант, но я не желаю выяснять их подноготную. Мне не нужны их секреты и сокровенные мысли. Не нужны их страхи и благодарность. Ручной алхимик, сказала бы мать со снисходительным презрением. Показывает никчемные фокусы, а ведь могла бы творить чудеса. Но мне нравятся эти люди. Нравятся их мелкие заботы и переживания. Я с легкостью читаю по их глазам и губам: этой, с затаенной горечью в чертах, придутся по вкусу мои пикантные апельсиновые трубочки; вон той, с милой улыбкой, – абрикосовые сердечки с мягкой начинкой; лохматая девушка по достоинству оценит mendiant's; а эта бодрая веселая женщина – бразильский орех в шоколаде. Для Гийома – вафли в шоколаде; он их аккуратно съест над блюдом в своем опрятном холостяцком доме. Нарсисс любит трюфели с двойным содержанием шоколада, а значит, за его суровой внешностью кроется доброе сердце. Каролина Клермон сегодня вечером будет грезить о жженных ирисках и утром проснется голодной и раздраженной. А дети... Шоколадные шишечки, крендельки, пряники с золоченой окантовкой, марципаны в гнездышках из гофрированной бумаги, арахисовые леденцы, шоколадные гроздья, сухое печенье, наборы бесформенных вкусностей в коробочках на полкило... Я продаю мечты, маленькие удовольствия, сладкие безвредные соблазны, низвергающие сонм святых в ворох орешков и нуги...

Это что, так плохо? Кюре Рейно, во всяком случае, не одобряет.

– Держи, Чарли. Ешь, старина.

Голос Гийома неизменно теплеет, когда он обращается к своему питомцу, и всегда пронизан печалью. Пса он купил сразу же после смерти отца, рассказал Гийом. Восемнадцать лет назад. Однако собачий век короче людского, и они состарились одновременно.

– Это здесь. – Он показывает мне опухоль под челюстью Чарли. Размером с куриное яйцо, торчит, как нарост на дереве. – Все время растет. – Он умолкает, почесывая пса по животу. Тот с наслаждением потягивается, дрыгая лапой. – Ветеринар говорит, ничего сделать нельзя.

Теперь мне ясно, откуда в его глазах любовь и вина.

– Ведь старого человека не усыпляют? – с жаром говорит он. – Нет, пока в нем... – он подыскивает слова, – не угасло стремление к жизни. Чарли не страдает. Вовсе нет.

Я киваю, понимая, что он сам себя уговаривает.

– Лекарства убивают боль.

«Пока», – беззвучным эхом звенит произнесенное слово.

– Я пойму, когда настанет час. – В его добрых глазах ужас. – И буду знать, как поступить. Я не испугаюсь.

Я молча наливаю ему бокал шоколада и посыпаю пену шоколадной пудрой, но Гийом, занятый своим питомцем, не видит. Чарли переворачивается на спину, вертит головой.

– M'sieur le curé говорит, у животных нет души, – тихо молвит Гийом. – Говорит, я должен избавить Чарли от мучений.

– У всего есть душа, – возражаю я. – Так говорила моя мать. У всего, что существует.

Гийом кивает, замкнувшись в кругу страха и вины.

– Как я буду без него жить? – спрашивает он. Его взгляд по-прежнему обращен к собаке, и я понимаю, что он забыл про меня. – Что я буду без тебя делать?

Я за прилавком сжимаю кулак в немой ярости. Мне знакомо это выражение – страх, угрызения совести, неутолимая жажда, – хорошо знакомо. Такое же лицо было у матери в ночь после встречи с Черным Человеком. И слова, произнесенные Гийомом «Что я буду делать без тебя?» – я тоже слышала. Их шептала мне мать всю ту ужасную ночь. Я гляжу в зеркало перед сном, проснувшись утром в нарастающем страхе – уверенности, – сознании, что моя дочь ускользает от меня, что я теряю ее, потеряю наверняка, если не найду заветного Прибежища... и вижу, что у меня такое же лицо.

Я обнимаю Гийома. Непривычный к женскому прикосновению, он на секунду напряженно застывает, потом расслабляется. Я чувствую, как волнами выплескивается из него жгучая боль неминуемой утраты.

– Вианн, – тихо произносит он. – Вианн.

– Это естественно – так чувствовать, – твердо говорю я. – Это не запрещено.

Чарли из-под табурета лаем выражает свое возмущение.

Сегодня мы выручили почти триста франков. Впервые без убытков. Я сообщила об этом Анук, когда та вернулась из школы. Однако дочь глядела рассеяннo, оживленное личико необычайно серьезно. Глаза – темные, мрачные, как небо перед грозой.

Я спросила, почему она расстроена.

– Из-за Жанно. – Голос у нее бесцветный. – Его мама запретила ему играть со мной.

Я вспомнила Жанно в костюме Волка на карнавальном шествии.

Тощий семилетний мальчик с косматой головой и подозрительным взглядом. Вчера вечером он играл с Анук на площади. Они с воинственными криками гонялись друг за другом, пока не стемнело. Его мать, Жолин Дру, одна из двух учительниц начальной школы, дружит с Каролиной Клермон.

– Вот как? – Сдержанно. – И что же она говорит?

– Что я дурно влияю. – Она глянула на меня исподлобья. – Потому что мы не ходим в церковь. Потому что ты открыла магазин в воскресенье.

Ты открыла.

Я смотрю на дочь. Мне хочется ее обнять, но меня настораживает этот неприступный враждебный вид.

– А сам Жанно что думает? – мягко спрашиваю я.

– А что ему делать? Она всегда рядом. Наблюдает. – Голос громче, пронзительнее; похоже, она вот-вот расплачется. – Почему с нами каждый раз так? – вопрошает она. – Почему я никогда...

Она заставляет себя умолкнуть, ее худенькая грудь сотрясается.

– У тебя есть другие друзья.

Это правда: вчера вечером я видела с ней человек пять детворы; площадь звенела от их визга и смеха.

– Это друзья Жанно.

Логично. Луи Клермон. Лиз Пуату. Они – *его* друзья. Без Жанно компания скоро распадется. Мне вдруг невыносимо больно за дочь: выдумывает невидимых друзей, населяет пространство вокруг себя. Какой эгоизм – вообразить, будто одна мать способна это пространство заполнить. Эгоизм и слепота.

– Мы можем посещать церковь, если ты хочешь, – ласково говорю я. – Но ты же сама понимаешь: это ничего не изменит.

– Почему? – С упреком. – Они ведь не верят. Им плевать на Бога. Они просто ходят в церковь.

Я улыбнулась, не без горечи. Ей всего шесть, но порой она поражает меня своей пронизательностью.

– Может, и так, – отвечаю я, – но ты что, хочешь быть как они?

Она пожимает плечами – цинично и равнодушно. Переминается с ноги на ногу, словно боится, что я начну читать нотацию. Я ищу подходящие слова, чтобы объяснить ей, а в мыслях – только мать с обезумевшим лицом: укачивает меня, нашептывая почти с яростью: «Что я буду делать без тебя? Что буду делать?»

Вообще-то я все уже давно объяснила – лицемерие церкви, охота на ведьм, преследование бродяг и людей иной веры. Она понимает. Только усвоенные понятия плохо переносятся в повседневность, не примиряют с одиночеством, с утратой друга.

– Это несправедливо.

Тон по-прежнему бунтарский; враждебность пригасла, но не потухла совсем.

Равно как и разграбление Святой земли, сожжение Жанны д'Арк, испанская инквизиция. Но я не напоминаю об этом. Страдальческое лицо напряжено. Стоит мне дать слабинку, и она отвернется от меня.

– Найдешь других друзей.

Неубедительный, неутешительный ответ. Анук глядит с презрением.

– А мне нужен был этот.

Пугающе взрослый, пугающе усталый голос. Она отводит взгляд. Веки набухли слезами, но она не кидается ко мне за утешением. Неожиданно я с ужасающей ясностью вижу ее, ребенка, подростка, взрослую, совершенно незнакомую мне, какой она однажды станет, и едва не кричу в страхе и растерянности. Будто мы с ней поменялись местами: она – взрослая, я – ребенок...

«Пожалуйста, не уходи! Что я буду делать без тебя?»

Но я отпускаю ее без единого слова, как ни велико во мне желание обнять ее: слишком остро ощущаю стену отчуждения. Я знаю, люди рождаются дикарями. Я могу надеяться разве что на капельку ласки, на видимость послушания. В глубине пребывает дикость – необузданная, неприрученная, непредсказуемая.

Весь вечер она хранила молчание. Когда я укладывала ее спать, она отказалась от сказки, но заснула лишь спустя несколько часов после того, как я погасила свет у себя. Лежа в темноте, я слышала, как она меряет шагами комнату, время от времени раздражаясь яростными отрывистыми тирадами, обращенными то ли к самой себе, то ли к Пантуфлю, слишком тихими – слов не разобрать. Позже, уверившись, что она спит, я на цыпочках пробралась в ее комнату, чтобы выключить свет. Свернувшись клубочком, она лежала на краю кровати, выкинув в сторону руку и так трогательно и неловко вывернув голову, что у меня от жалости защемило сердце.

В ладони она сжимала пластилиновую фигурку. Расправляя простыни, я эту фигурку забрала, намереваясь положить в коробку для игрушек. Пластилин еще хранил тепло детской ручки и пах начальной школой, нащептанными секретами, типографской краской и полузабытыми друзьями.

Липкая шестидюймовая фигурка, старательно вылепленная детскими пальчиками. Глаза и рот процарапаны булавкой, вокруг пояса – красная нитка и что-то – веточки либо сухая трава – воткнуто в голову, обозначая косматые каштановые волосы... На туловище пластилинового мальчика выцарапаны буквы: прямо над сердцем – аккуратная заглавная «Ж», чуть ниже, почти залезшая на нее, – «А».

Я осторожно положила фигурку на подушку рядом с головой Анук и вышла, потушив свет. Незадолго до рассвета Анук забралась ко мне в постель, как она это часто делала, когда была еще совсем малышкой, и я из мягких глубин дремоты услышала ее шепот:

– Не сердись, татап. Я тебя никогда не брошу.

От нее пахло солью и детским мылом. В темноте она крепко сжимала меня в теплых объятиях. Счастливая, я укачивала ее, укачивала себя, обнимала нас обеих, и облегчение мое было пронзительным, как боль.

– Я люблю тебя, татап. И всегда буду любить тебя навечно. Не плачь.

Я не плакала. Я никогда не плачу.

Я плохо спала посреди калейдоскопа снов и пробудилась на рассвете – на моем лице рука Анук, в душе – отвратительное паническое желание схватить дочь в охапку и вновь пуститься в бег. Как нам жить здесь? Какая глупость – решить, будто он не настигнет нас даже в этом городе? У Черного Человека множество лиц, и все неумолимы, суровы и почему-то завистливы. «Беги, Вианн. Беги, Анук. Забудьте свою маленькую сладостную мечту и бегите».

Но нет, на этот раз мы не убежим. Мы и так убежали слишком далеко. Анук и я. Мама и я. Слишком далеко от самих себя.

За эту мечту я намерена цепляться.

9

19 февраля, среда

Сегодня у нас выходной. Школа закрыта, и, пока Анук играет возле Марода, я получу заказанный товар и приготовлю партию лакомств на неделю.

Стряпаю я с удовольствием. Кулинарное искусство сродни волшебству: я словно ворожу, выбирая ингредиенты, смешивая их, измельчая, заваривая, настаивая, приправляя специями по рецептам из древних кулинарных книг. Традиционные предметы утвари – ступа и пест, которые мать использовала, готовя благовония, – теперь служат обыденности, а мамины пряности и амбра добавляют тонкости чудесам простым и чувственным. Мимолетность – вот что отчасти восхищает меня. Столько труда, любви, искусного мастерства вкладывается в удовольствие, которое длится всего-то мгновение и которое лишь немногие способны по-настоящему оценить.

Моя мать всегда снисходительно презирала мое увлечение. Она не умела наслаждаться едой, воспринимала ее как утомительную необходимость, налог на нашу свободу. Я краля меню из ресторанов и с тоской смотрела на витрины кондитерских, а настоящий шоколад впервые попробовала, когда мне было лет десять, а может, и больше. Но интерес к кулинарии не угасал. Рецепты я помнила наизусть, хранила в голове, как дорожные маршруты. Всевозможные рецепты – выданные из брошенных журналов на переполненных вокзалах, выведенные у случайных попутчиков, дикое произведение моего собственного сочинения. Ворожба и гадания вычерчивали наш безумный маршрут по Европе. А карточки с рецептами размечали вехами унылые границы, бросали якоря. Париж пах свежим хлебом и рогаликами, Марсель – буйабессом и жареным чесноком, Берлин – ледяной кашей с квашеной капустой и картофельным салатом, Рим – мороженым, которое я съела, не заплатив, в ресторанчике у реки.

У матери не было времени на вехи. Все географические карты в голове, все города одинаковы. Уже тогда мы по-разному смотрели на жизнь. Нет, она научила меня всему, что умела. Как проникать в суть вещей, разбираться в людях, читать их мысли и сокровенные желания. Водитель согласился подвезти нас и дал крюк в десять километров, чтобы доставить нас в Лион; торговцы отказывались брать с нас плату; полицейский не обращал на нас внимания. Конечно, нам везло не всегда. Порой удача отворачивалась – непонятно почему. Есть люди, которых не прочтешь, до которых не достучишься. Например, Франсис Рейно. И даже когда у нас получалось, это вторжение смущало меня. Слишком уж легко. А вот шоколад – другое дело. Да, чтобы его приготовить, нужно мастерство. Легкая рука, сноровка, терпение, каким никогда не обладала мать. Но формула неизменна. Это безопасно. Безвредно. И не нужно заглядывать в чужие сердца, брать, что хочу; я просто исполняю желания, делаю то, о чем просят.

Ги, мой кондитер, знает меня с давних времен. Мы работали вместе, когда родилась Анук; Ги помог мне организовать мое первое заведение – маленькую кондитерскую на окраине Ниццы. Теперь он живет в Марселе – импортирует натуральное тертое какао из Южной Америки и на своей фабрике перерабатывает в различные сорта шоколада.

Я использую только лучшее. Брикеты шоколадной глазури чуть больше обычного кирпича, каждую неделю по ящику трех видов – черной, молочной и белой. Шоколад доводится до кристаллического состояния – поверхность хрупкая и блестит. Некоторые кондитеры покупают не брикеты, а шоколадную массу, но я люблю готовить смесь своими руками. Возня с необработанными тусклыми блоками шоколадной глазури беспредельно завораживает: дробишь их вручную – я никогда не пользуюсь электрическими миксерами, – сыпашь в большие керамические чаны, плавашь, помешивашь, то и дело старательно измеряешь температуру специальным термометром: пока смесь не получит достаточно тепла, чтобы случилось превращение.

Алхимия своего рода – преобразование шоколадного сырья в лакомое «золото дураков»; любительская алхимия, которую, наверное, даже мама бы оценила. Работая, я дышу полной грудью и ни о чем не думаю. Окна распахнуты настежь, гуляют сквозняки – было бы холодно, если б не жар печей и медных чанов, если б не горячие пары тающей шоколадной глазури. В нос бьет одуряющая, пьянящая смесь запахов шоколада, ванили, раскаленных котлов и корицы – терпкий грубоватый дух Америки, острый смолистый аромат тропических лесов. Вот так я теперь путешествую – как ацтеки в своих священных ритуалах. Мексика, Венесуэла, Колумбия. Двор Монтесумы. Кортес и Колумб. Пища богов пузырится и пенится в ритуальных чашах. Горький эликсир жизни.

Возможно, это и чувствует Рейно в моей лавке – дух далеких времен, когда мир был огромен и дик. Какао-бобам поклонялись еще до пришествия Христа – до того, как родился в Вифлееме Адонис и принесен был в жертву на Пасху Осирис. Какао-бобам приписывались магические свойства. Напиток из них потягивали на ступеньках жертвенных храмов; какао-бобы даровали исступленное блаженство, повергали в неистовый экстаз. Вот чего он боится? Расчленения через наслаждение, незаметного пресуществления плоти в сосуд разгула. Оргии ацтекского жречества не для него. И все же в парах тающего шоколада что-то проступает – видение, сказала бы моя мать, – дымчатый палец постижения, указующий... указующий...

Есть! На секунду я почти ухватила его. Блестящая поверхность пошла дымчатой рябью. И снова – неясно, тонко и бледно, прячется, является... На мгновение я почти увидела ответ, тайну, которую он скрывает – даже от себя – тщательно, с пугающей расчетливостью; ключ, который даст ход всем нам, запустит в движение механизм.

Гадать на шоколаде трудно. Видения расплываются, клубятся в парах, что туманят мозг. И я – не моя мать, до самой смерти сохранявшая столь могучий дар прорицания, что мы в одиночестве бежали впереди него. И все же, прежде чем видение рассеялось, мне кажется, я успела кое-что рассмотреть – комнату, кровать, на ней старика с воспаленными запавшими глазами на белом лице... И огонь. Огонь.

Вот что я должна была увидеть?

Вот какова тайна Черного Человека?

Мне нужно знать его секрет, если мы хотим здесь остаться. А я намерена остаться. Чего бы это ни стоило.

10

19 февраля, среда

Неделя, *mon règne*. Всего-навсего. Прошла одна неделя. А кажется, гораздо больше. Сам не понимаю, почему она так тревожит мой покой, – мне ведь абсолютно ясно, что это за женщина. Я заходил к ней на днях, пытался убедить, что не стоит открывать магазин в воскресное утро. Бывшая пекарня преобразилась, меня смущали ароматы имбиря и специй. Я старался не смотреть на полки со сладостями – коробочки, ленточки, пастельные бантики, золотисто-серебристые горки засахаренного миндаля, сахарные фиалки, шоколадные лепестки роз. Намек на будуар более чем ясен – так интимно, так пахнет розами и ванилью. Похоже на комнату моей матери: сплошь креп и кисея, мерцание хрусталя в приглушенном свете, ряды флакончиков и склянок на туалетном столике – сонм джиннов, ожидающих избавления из плена. Есть что-то нездоровое в столь обильном средоточии изысканности. Отчасти исполненное обещание запретного блаженства. Я старался не смотреть, не нюхать.

Она вежливо поздоровалась. Теперь я увидел яснее: длинные черные волосы собраны в узел, глаза темные, будто без зрачков. Идеально прямые брови придают ее облику суровость, смягченную ироничным изгибом губ. Ладони квадратные, ногти коротко острижены – руки профессионала. Никакой косметики, и все равно в лице сквозит что-то непристойное. Возможно, открытый оценивающий взгляд, неизменно ироничные губы. К тому же она высока, слишком высока для женщины, она ростом с меня. Смотрит мне прямо в глаза – плечи расправлены, подбородок дерзко вскинут. На ней длинная расклешенная юбка, огненная, и облегающий черный свитер. Опасная расцветка – точно змея, ядовитое насекомое, предостережение врагам.

А она – мой *враг*. Я это сразу почувствовал. Ее враждебность, ее подозрительность; меня не обманывает ее тихий приятный голос. Нарочно привлекает меня в лавку, хочет посмеяться надо мной. Ей будто известно такое, что даже я... Впрочем, ерунда. Что она может знать? Что может сделать? Естественный порядок нарушен, и я негоую, как добросовестный садовник вознегодовал бы при виде одуванчиков в саду. Семена разброда всюду дают всходы, *mon règne*. И разброд ширится. Ширится.

Я понимаю. Я теряю перспективу. Но мы, ты и я, все равно должны бдить. Помнишь Марод и цыган, которых мы изгнали с берегов Танна? Помнишь, сколько времени и сил ушло на это, сколько бесплодных месяцев потрачено на жалобы и ходатайства, пока мы не взяли дело в свои руки? Помнишь мои проповеди? Одна за другой перед ними захлопывались двери. Некоторые лавочники сразу встали на нашу сторону. Не забыли последнего нашествия цыган, принесших в город болезни, воровство, проституцию. А вот на Нарсисса пришлось надавить: он, по своему обыкновению, готов был предложить бродягам работу на своих полях в летнюю страду. Но мы в конце концов выселили весь табор – угрюмых мужчин, их неряшливых потаскушек с наглыми глазами, их босоногих детей-сквернословов, их тощих собак. После ухода цыган люди бесплатно убрали после них мусор и грязь. Одно семечко одуванчика, *mon règne*, – и они вернутся. Ты это понимаешь не хуже меня. И если она – это семечко...

Вчера я разговаривал с Жолин Дру. Анук Роше поступила в начальную школу. Развязная девчонка с такими же черными волосами, как у ее матери, и радужной нахальной улыбкой. Судя по всему, Жолин заметила, что ее сын Жан в числе других детей играет с этой девочкой в какую-то непотребную игру на школьном дворе. Они вытряхивали в грязь из мешочка бусины и кости. Видимо, гадали или еще какой ерундой занимались. Дурное влияние... Говорю же, я знаю эту породу. Жолин запретила Жану играть с Анук, но парень упрям, тут же надулся. Дети в этом возрасте понимают только язык строгой дисциплины. Я вызвался серьезно поговорить с мальчиком, но мать не согласилась.

Вот что это за люди, топ рёге. Слабые. Слабые. Интересно, сколько из них уже нарушили Великий пост? Сколько вообще намеревались его соблюдать? Меня же пост очищает от скверны. Витрина лавки мясника приводит меня в ужас; обоняние так обострилось, что даже кружится голова. Я вдруг совершенно перестал выносить аромат свежей выпечки из пекарни Пуату по утрам; харчевня на площади Изыщных Искусств смердит жареным жиром, будто адское пекло. Сам я вот уже больше недели не прикасаюсь ни к мясу, ни к рыбе, ни к яйцам. Живу на хлебе, супах, салатах да в воскресенье позволяю себе бокал вина. И я очистился, рёге, очистился... Жаль только, что не могу сделать больше. *Это* – не мука. *Это* – не наказание. Порой я думаю: вот если бы стать для них примером, если бы это я страдал, истекая кровью на кресте...

Эта ведьма Вуазен насмехается надо мной, шагая мимо с корзиной продуктов. Она единственная в семье благочестивых прихожан презирует церковь, ухмыляется мне, ковыляя мимо в соломенной шляпке с красным шарфом, идет, стучит палкой по плитам и склабится... Я терплю ее только из уважения к ее возрасту, топ рёге, и из жалости к ее родным. Упрямо отказывается от лечения, от утешения и поддержки, думает, что будет жить вечно. Но в один прекрасный день она сломается. Когда-нибудь они все ломаются. И я безропотно отпущу ей грехи. Буду скорбеть о ней, несмотря на все ее заблуждения, гордыню, заносчивость. В итоге она падет к моим ногам, топ рёге. В итоге все они падут, правда же?

11

20 февраля, четверг

Я ждала ее. Клетчатый плащ, волосы зализаны назад, руки проворные и нервные, как у опытного стрелка. Жозефина Мускат, женщина с карнавала. Она дождалась, когда мои завсегдатаи – Гийом, Жорж и Нарсисс – покинули шоколадную, и вошла, держа руки глубоко в карманах.

– Горячий шоколад, пожалуйста, – заказала она, уставившись на пустые бокалы, которые я не успела убрать, и неловко села на табурет за прилавком.

– Сию минуту.

Я не стала уточнять, как приготовить, – подала с шоколадной стружкой и взбитыми сливками, положив на край блюда две кофейные помадки. С минуту она, прищурившись, смотрела на бокал, потом робко прикоснулась к нему.

– Я тут на днях, – заговорила она неестественно беспечным тоном, – была у вас и забыла заплатить. – Пальцы у нее длинные и, как ни странно, изящные, несмотря на мозолистые подушечки. Лицо слегка расслабилось, затравленная тревога отпустила его, и теперь оно почти красиво. Волосы мягкого каштанового оттенка, золотистые глаза. – Прошу прощения.

Она почти с вызовом бросила на прилавок монету в десять франков.

– Ничего страшного. – Голос у меня беззаботный, безразличный. – С кем не бывает.

Жозефина подозрительно взглянула на меня и, убедившись, что я не рассержена, чуть успокоилась.

– Вкусно, – похвалила она, глотнув из бокала. – Очень вкусно.

– Я сама готовлю, – объяснила я. – Из тертого какао, еще без какао-масла – его добавляют, чтобы масса затвердела. Ацтеки столетия назад именно так шоколад и пили.

Жозефина вновь глянула подозрительно.

– Спасибо за подарок, – наконец произнесла она. – Миндаль в шоколаде. Мои любимые конфеты. – И вдруг заговорила быстро, отчаянно, захлебываясь словами: – Я не нарочно. Просто они обсуждали меня, я знаю. Но я не воровка. Это все из-за них... – теперь тон презрительный, уголки губ опущены в гнев и самобичевании, – из-за стервы Клермон и ее подружек. Лгуньи. – Она опять посмотрела на меня, дерзко, почти вызывающе. – Говорят, ты не ходишь в церковь.

Голос звенящий, слишком громкий для крошечной шоколадной, оглушает нас обеих.

Я улыбнулась.

– Совершенно верно. Не хожу.

– Значит, долго здесь не протянешь. – Голос сорвался, по-прежнему ломкий. – Они выживут тебя отсюда, прогонят, как прогоняют всех, кто им не нравится. Вот увидишь. Все это... – Она нервно обвела рукой полки, коробочки, витрину. – Ничто тебя не спасет. Я слышала их болтовню. Слышала, что они говорили.

– Я тоже. – Из серебряного чайника я налила себе маленькую чашку шоколада – черного, как эспрессо, – и помешала ложечкой. – Но я не обязана слушать, – спокойно сказала я и, отпив из чашки, добавила: – И ты тоже.

Жозефина рассмеялась.

Мы обе замолчали. Пять секунд. Десять.

– Говорят, ты ведьма. – Опять это слово. Она с вызовом посмотрела мне в лицо. – Это так?

Я пожала плечами, глотнула шоколада.

– Кто говорит-то?

– Жолин Дру. Каролина Клермон. Приспешницы кюре Рейно. Я слышала, как они болтали у церкви. И дочь твоя что-то рассказывала детям. Про духов. – В голосе любопытство и скрытая, невольная враждебность – ее природы я не понимала. – Надо же, духи! – хохотнула Жозефина.

Я провела пальцем по золотому ободку чашки.

– Я думала, тебе плевать на то, что болтают все эти люди.

– Мне просто любопытно. – Опять с вызовом, словно боится пробудить к себе симпатию. – И ты на днях говорила с Армандой. А с Армандой никто не разговаривает. Кроме меня. Арманда Вуазен. Старушка из Марода.

– Она мне нравится, – просто сказала я. – Почему бы мне с ней не поговорить?

Жозефина стиснула кулаки на прилавке. Волнуется, голос трещит, как стекло на морозе.

– Потому что она сумасшедшая, вот почему! – Она неопределенно покрутила пальцем у виска. – Сумасшедшая, сумасшедшая, сумасшедшая. – Она понизила голос. – Я вот что тебе скажу. В Ланскне существует граница, – мозолистым пальцем она провела на прилавке черту, – и если ты ее переступаешь, если не исповедуешься, не уважаешь мужа, не готовишь три раза в день, не ждешь возвращения мужа, сидя у камина с пристойными мыслями в голове, если у тебя нет... детей... и ты не ходишь с цветами на похороны друзей, и не пылесосишь свою гостиную, и... не... вскапываешь... цветочные грядки! – Жозефина покраснела от напряжения, от клокотавшего внутри безудержного гнева. – Значит, ты – чокнутая! – выпалила она. – Чокнутая, ненормальная. И люди... шепчутся... за... твоей спиной и... и... и...

Она умолкла, и боль уже не искажала ее черты. Я заметила, что взгляд ее устремлен мимо меня за окно, но отражение в стекле заслонило то, на что она смотрела. Будто занавес опустился на ее лицо – плотный, непроницаемый, безнадежный.

– Извини. Меня чуть-чуть занесло. – Она допила шоколад. – Мне нельзя с тобой общаться. Да и тебе со мной. И так уже не жди ничего хорошего.

– Это Арманда так думает? – мягко полюбопытствовала я.

– Мне пора. – словно казня себя, она опять вдавила в грудь стиснутые кулаки. – Мне пора.

Вновь смятение в глазах, губы искривились панически, и от этого лицо – почти отупевшее... Однако разгневанная, возмущенная женщина, что говорила со мной минуту назад, была далеко не глупа. Что – или кого – она увидела, отчего так резко изменилась в лице? Едва она ступила за порог и, горбясь под порывами воображаемого ураганного ветра, зашагала прочь, я приблизилась к окну, глядя ей вслед. К ней никто не подошел. Вроде бы никто на нее не смотрел. И тут я заметила Рейно. Он стоял у входа в церковь, в арочном проеме. Рядом с ним – незнакомый лысеющий мужчина. Взгляды обоих прикованы к витрине «Небесного миндаля».

Рейно? Может, он – источник ее страха? Меня кольнуло раздражение при мысли, что, возможно, священник настраивает Жозефину против меня. Помнится, она говорила о нем скорее с пренебрежением, чем со страхом. Собеседник Рейно – коренастый мужчина. Завернутые рукава клетчатой рубашки обнажают лоснящиеся красные руки, интеллигентские очки несут на крупном мясистом лице. Во всем облике невнятная враждебность, и я наконец узнаю его. Я уже встречала его прежде – с белой бородой, в красном халате. Он бросал сладости в толпу. На карнавале. Санта-Клаус. Швырял конфеты с такой злостью, будто надеялся выбить кому-нибудь глаз. В этот момент у витрины остановились дети. Мужчин у церкви я теперь не видела, но, думаю, разгадала причину поспешного бегства Жозефины.

– Люси, видишь того человека на площади? В красной рубашке? Кто это?

Девочка скорчила рожицу. Ее любимое лакомство – белые шоколадные мышки, пять штук за десять франков. Я добавила ей в бумажный кулек еще две.

– Ты ведь его знаешь, верно?

Люси кивнула.

– Мсье Мускат. Хозяин кафе.

Я знаю – невзрачная забегаловка в конце улицы Вольных Граждан. С полдесятка металлических столиков на тротуаре, выцветший навес с эмблемой «Оранжевые». Старая вывеска – «Кафе "Республика"». Сжимая кулек со сладостями, девочка отходит от прилавка, собираясь выскочить на улицу, но потом, передумав, вновь поворачивается.

– А вот какие *его* любимые лакомства, вы никогда не догадаетесь, – сказала она. – Потому что он ничего не любит.

– В это трудно поверить, – улыбнулась я. – Каждый человек что-нибудь да любит.

Люси поразмыслила с минуту.

– Ну, может, только то, что забирает у других, – звонко объявила она и ушла, махнув мне на прощание через витрину. – Передайте Анук, что после школы мы идем в Марод!

– Обязательно.

Марод. Интересно, чем он их прельщает. Речка с вонючими коричневыми берегами. Узкие улочки, по которым гуляет мусор. Оазис для детей. Укрытия, плоские камешки, которые хорошо скачут по стоячей воде. Секреты шепотом, мечи из палок, щиты из листьев ревеня. Военные действия в зарослях ежевики, тоннели, первопроходцы, бродячие собаки, слухи, похищенные сокровища... Вчера Анук вернулась из школы, вышагивая упруго, и показала мне свой новый рисунок.

– Это я. – Фигурка в красном комбинезоне с взъерошенными черными волосами. – Пантуфль. – На ее плече сидит, как попугай, кролик с наостренными ушами. – И Жанно.

Мальчик в зеленом вытянул руку. Оба ребенка улыбаются. Судя по всему, матерям – даже матерям-учительницам – вход в Марод заказан. Анук повесила рисунок на стену над пластилиновой фигуркой, которая до сих пор сидит у кровати.

– Пантуфль сказал мне, что делать.

Она мимоходом сгребла его в объятия. В этом свете я вижу его довольно отчетливо – он похож на усатого ребенка. Порой я спрашиваю себя: может, надо как-то запретить ей этот самообман; но знаю, что у меня не хватит мужества обречь свое дитя на одиночество. Может, если мы останемся здесь, Пантуфль со временем уступит место более реальным друзьям.

– Я рада, что вам удалось остаться друзьями, – говорю я, целуя ее в кудрявую макушку. – Передай Жанно, если хочет, пусть приходит сюда на днях. Поможете мне разобрать витрину. И остальных друзей тоже зови.

– Пряничный домик? – Ее глаза засияли, как вода на солнце. – Ура! – В приливе радости она заплясала по комнате, едва не опрокинула табурет, огромным прыжком обогнула воображаемое препятствие и кинулась на лестницу, перескакивая через три ступеньки. – Пантуфль, догоняй!

Бам-бам! – Анук грохнула дверью о стену. Меня внезапно, как всегда, захлестнула волна любви к дочери. Моя маленькая странница. Вечно в движении, ни минуты не молчит.

Я налила себе еще шоколада и обернулась на трезвон колокольчиков. На секунду я застала его врасплох: он не контролировал своего лица – взгляд оценивающий, подбородок выпячен. Плечи расправлены, на лоснящихся оголенных руках вздулись вены. Потом он улыбнулся – скупое, без тепла.

– Мсье Мускат, если не ошибаюсь?

Интересно, что ему нужно? Здесь он совсем не к месту. Набывчившись, он рассматривал товар, его взгляд подкрался к моему лицу, опустился к моей груди – один раз, второй.

– Что ей здесь понадобилось? – отчеканил он, не повышая голоса, и мотнул головой, словно в недоумении. – Что, черт побери, ей может быть нужно в этой лавке? – Он показал на поднос с засахаренным миндалем – пятьдесят франков за пакетик. – Это, что ли, э? – обращается он ко мне, разводя руками. – Кому чего подарить на свадьбу или на крестины. На что ей подарки? – Он опять улыбнулся: старается подольститься – не выходит. – Что она купила?

– Насколько я понимаю, речь идет о Жозефине?

– Да, это моя жена. – Странно он это сказал – будто отрубил. – Вот они, женщины. Пашешь как проклятый, чтоб заработать на прожитие, а они что делают, э? Тратят все на... – Он вновь обвел рукой шоколадные жемчужины, марципановые гирлянды, серебряную фольгу, шелковые цветы. – Так она что, подарок купила? – В голосе подозрительность. – Кому это она подарки покупает? Себе, что ль?

Он хохотнул, словно эта мысль нелепа.

Непонятно, какое ему дело. Но меня настораживали его агрессивный тон, нездоровый блеск в глазах, нервная жестикуляция. Я боялась не за себя – за годы, проведенные с матерью, я научилась себя защищать, – я боялась за Жозефину. Не успела я отгородиться, от него перекатился образ: окровавленный палец в дыму. Я сжала под прилавком кулаки, ибо изнанку души этого человека видеть вовсе не хотела.

– Думаю, вы что-то не так поняли, – сказала я. – Я сама пригласила Жозефину на чашку шоколада. По дружбе.

– О! – Он на мгновение оторопел. Потом вновь усмехнулся – будто гавкнул. На сей раз почти искренне; его презрение отдает неподдельным удивлением. – *Вы* хотите подружиться с Жозефиной?

Вновь глядит оценивающе. Я видела, что он сравнивает нас, то и дело похотливо стреляя глазами на мою грудь. Вновь открыв рот, он вкрадчиво замурлыкал – очевидно, в его представлении таков тон обольстителя.

– Ты ведь здесь новенькая, верно?

Я кивнула.

– Пожалуй, мы могли бы как-нибудь встретиться. Познакомились бы, получше узнали друг друга.

– Пожалуй, – беспечно ответила я и добавила невозмутимо: – Может, вы заодно и жену пригласите?

Пауза. Он вновь смерил меня взглядом, сощурился подозрительно.

– Она ж ничего такого не сболтнула, э?

– Чего, например? – уточнила я.

Он мотнул головой.

– Ничего. Ничего. Просто у нее язык как помело, вот и все. Рот не закрывается. Ничего не делает, э! Болтает и болтает сутки напролет. – Опять короткий безжалостный смешок. – Сама скоро увидишь, – добавил он с мрачным удовлетворением.

Я пробормотала что-то уклончивое. Затем, поддавшись порыву, достала из-под прилавка пакетик миндаля в шоколаде и протянула ему. Сказала непринужденно:

– Будьте добры, передайте это от меня Жозефине. Я для нее приготовила, а отдать забыла.

Он в оцепенении уставился на меня. Повторил тупо:

– Передать?

– Бесплатно. За счет магазина. – Я одарила его обворожительной улыбкой. – Это подарок.

Он широко улыбнулся, взял симпатичный серебряный мешочек и, смяв, сунул в карман джинсов.

– Конечно передам. Не сомневайся.

– Это ее любимые конфеты, – объяснила я.

– Много не наработаешь, если будешь угощать всех подряд, – снисходительно заявляет он. – Месяца не пройдет, как разоришься.

И снова пристальный голодный взгляд, будто я – шоколадная конфета, которую ему не терпится развернуть.

– Поживем – увидим, – елеяно протянула я.

Он вышел на улицу и, сутулясь, зашагал домой развязной походкой Джеймса Дина. Я провожала его взглядом; вскоре он вытащил из кармана конфеты, предназначенные для Жозефины, и вскрыл пакетик. Даже не потрудился отойти подальше. Наверное, догадывался, что я наблюдаю. Одна, вторая, третья. Его рука с ленивой методичностью поднималась ко рту, и не успел он перейти площадь, как пакетик уже был опустошен, а шоколад съеден. Он скомкал в руке серебряную упаковку. Я представила, как он запихивает в рот конфеты, – прожорливый пес стремится поскорее вылизать миску, чтобы стащить кусок мяса из чужой тарелки. Минувя пекарню, он швырнул серебряный комок в урну у входа, но промахнулся: бумажный шарик поплясал на ободке и упал на камни. А он, не оглядываясь, продолжал путь мимо церкви и по улице Вольных Граждан, грубыми башмаками выбивая искры из гладких булыжников мостовой.

12

21 февраля, пятница

С вечера опять похолодало. Флюгер на церкви Святого Иеронима всю ночь крутился и елозил в сомнениях и тревоге, визгливо поскрипывая на ржавых креплениях, словно отгонял незваных гостей. К утру на город лег туман, да такой густой, что даже церковная башня, высившаяся всего в двадцати шагах от шоколадной, казалась далеким призрачным силуэтом. Сквозь ватную толщу тумана пробивался глухой бой колокола, призывавшего к обедне, но лишь несколько человек отозвались на этот звон. Подняв воротники плащей и курток, они спешили в церковь за отпущением грехов.

Когда Анук допивает молоко, я кутаю дочь в красный плащ и, не обращая внимания на ее протесты, натягиваю ей на голову пушистую шапку.

– Ты что, завтракать не хочешь?

Она решительно мотает головой и хватается яблоко с блюда у прилавка.

– А меня ты не поцелуешь?

Это наш утренний ритуал.

Ловко обхватив меня руками за шею, она мокро лижет меня в лицо, отпрыгивает, хихикая, посылает от двери воздушный поцелуй и выбегает на площадь. Я охаю в притворном ужасе, вытираю лицо. Она радостно хохочет, показывает мне маленький острый язычок, кричит: «Я люблю тебя!» – и красной змейкой уносится в туман, волоча за собой ранец. Я знаю, что через полминуты пушистая шапка перекинута в ранец, где уже лежат учебники, тетради и прочие неуютные напоминания о взрослом мире. На секунду я вновь вижу Пантуфля – он скачет за ней по пятам – и спешу заслониться от нежеланного образа. Накатывает одиночество утраты – как я буду целый день жить без нее? Я еле давя в себе порыв ее окликнуть.

За утро шесть покупателей. Один из них – Гийом. Зашел по пути домой из лавки мясника с куском кровяной колбасы, завернутой в бумагу.

– Чарли любит кровяную колбасу, – серьезно говорит он. – В последнее время у него плохой аппетит, но колбасу-то он съест с удовольствием.

– Вы и о себе не забывайте, – мягко напоминаю я. – Вам тоже нужно питаться.

– Конечно. – Он виновато улыбается. – Я ем как лошадь. Честное слово. – Смотрит тревожно. – Правда, сейчас Великий пост. Но ведь животным не обязательно поститься, как вы считаете?

В его лице смятение; я качаю головой. Черты лица у него мелкие, тонкие. Он из тех людей, кто разламывает печенье надвое и оставляет половинку на потом.

– По-моему, вам обоим надо лучше о себе заботиться.

Гийом чешет у Чарли за ухом. Пес вялый, толком не глядит на пакет из мясной лавки в корзине, которая стоит рядом.

– Мы справляемся. – Улыбка машинальна, как и ложь. – Правда, справляемся. – Он допивает *chocolat espresso*. – Отличный шоколад, – как всегда, говорит он. – Мои комплименты, мадам Роше.

Я уже давно не настаиваю на том, чтобы он обращался ко мне по имени. Его представления о приличиях не допускают фамильярности. Он оставляет деньги на прилавке, легонько касается шляпы на прощание и открывает дверь. Чарли неуклюже поднимается и, чуть крепнясь, ковыляет за хозяином. Дверь за ними затворяется, и Гийом тут же наклоняется и берет пса на руки.

В обед в шоколадную зашла еще одна посетительница. На ней бесформенное мужское пальто, но я все равно мгновенно ее признала. Под черной соломенной шляпой – умное лицо, сморщенное, как зимнее яблоко; из-под длинной черной юбки выглядывали тяжелые башмаки.

– Мадам Вуазен! Пришли, как и обещали? Позвольте, я налью вам что-нибудь.

Блестящие глаза внимательно рассматривали шоколадную, замечали каждую деталь. Она остановила взгляд на меню, творении Анук.

Горячий шоколад – 10 франков

Шоколад-эспрессо – 15 франков

Шоколадный капучино – 12 франков

Мокко – 12 франков

Старушка одобрительно кивнула.

– Сто лет ничего подобного не видела. Уже и забыла, что существуют такие заведения. – Голос звучный, движения энергичные, что никак не вяжется с возрастом. Губы насмешливо изогнуты, как у моей матери. – Когда-то я любила шоколад, – призналась она.

Пока я наливала мокко в высокий бокал и добавляла в пену «Калуа», она подозрительно разглядывала табуреты у прилавка.

– Надеюсь, ты не заставишь меня лезть на этот стул?

Я рассмеялась.

– Если б я знала, что вы придете, припасла бы лестницу. Подождите минутку. – Я вытащила из кухни старое оранжевое кресло Пуату. – Попробуйте-ка сюда.

Арманда тяжело опустилась в кресло и обеими руками взяла бокал. Глаза у нее горели нетерпением и восторгом, как у ребенка.

– Мммм. – Это больше, чем восторг. Почти благоговение. – Мммммм.

Она закрыла глаза, смакуя. Я едва ли не со страхом созерцала ее блаженство.

– Настоящий шоколад, да? – Она помолчала, блестящие глаза задумчивы под полуопущенными веками. – Сливки, корица, наверное, и... что еще? «Тиа Мария»?

– Почти угадали.

– Запретный плод всегда сладок, – сказала Арманда, с удовлетворением вытирая со рта пену. – Но это... – Она опять с жадностью глотнула. – Ничего вкуснее не пробовала, даже в детстве. Держу пари, здесь тысяч десять калорий. А то и больше.

– Да почему же запретный? – любопытствовала я.

Маленькая и круглая, как куропатка, она, в отличие от своей дочери, не производила впечатления женщины, которая озабочена своей фигурой.

– А, это врачи так думают, – отмахнулась Арманда. – Сама понимаешь. Что угодно скажут. – Она опять втянула через соломинку шоколад. – Ох как вкусно. Здорово! Каро уже который год пытается упрятать меня в какой-нибудь приют. Не нравится ей, что я живу по соседству. Не любит вспоминать, откуда сама взялась. – Она смачно хмыкнула. – Говорит, я больна. Не способна заботиться о себе. Присылает ко мне своего докторишку, и тот давай мне прописывать: это можно, то нельзя. Можно подумать, они хотят, чтобы я жила вечно.

Я улыбнулась.

– Я уверена, Каролина вас очень любит.

Арманда бросила на меня насмешливый взгляд.

– Прямо-таки уверена? – Она вульгарно закудаhtала. – Не рассказывай мне сказки, девушка. Ты прекрасно знаешь, что моя дочь любит только себя.

Я ведь не дура. – Ее сияющие глаза пристально сощурились на меня. – Я по мальчику скучаю.

– По мальчику?

– Его зовут Люк. Мой внук. В апреле ему исполнится четырнадцать. Ты, наверное, видела его на площади.

Мне смутно припомнился бесцветный мальчик в отглаженных фланелевых брюках и твидовой куртке. У него неестественно прямая осанка и холодные серо-зеленые глаза в обрамлении длинных ресниц. Я кивнула.

– Я завещала ему все свое состояние, – говорит Арманда. – Полмиллиона франков. Он их получит, когда ему исполнится восемнадцать лет; до тех пор деньги будут находиться в доверительной собственности. – Она пожала плечами. – Мы с ним не видимся, – обронила она. – Каро не разрешает.

Теперь я вспомнила, что видела их вместе: они шли в церковь, мальчик поддерживал мать под локоть. Он единственный из всех детей в Ланскне никогда не покупает шоколад в «Миндале», хотя, по-моему, я пару раз замечала, как он смотрел на мою витрину.

– Последний раз он навещал меня, когда ему было десять. – Голос у Арманды необычно блеклый. – По его меркам, лет сто назад. – Она допила шоколад и со стуком поставила бокал на прилавок. – Насколько я помню, это был день его рождения. Я подарила ему томик Рембо. Он держался со мной очень... вежливо. – В ее тоне горечь. – Конечно, с тех пор я встречала его несколько раз на улице. Да я и не жалуюсь.

– А почему вы сами к ним не зайдете? – удивилась я. – Пошли бы с ним погуляли, поговорили, узнали бы его лучше.

Арманда покачала головой.

– Мы с Каро не общаемся. – Теперь она брюзжала. Иллюзия молодости испарилась вместе с улыбкой, и Арманда вдруг стала невообразимо дряхлой. – Она меня стыдится. Одному богу известно, что она говорит обо мне мальчику. – Арманда потрянула головой. – Нет. Теперь уже слишком поздно. Я это вижу по его лицу. Он весь такой учтивый. Присылает мне на Рождество вежливые бессодержательные открытки. На редкость воспитанный мальчик. – Она невесело рассмеялась. – Вежливый, воспитанный мальчик. – Она лучезарно и храбро мне улыбнулась. – Если б знать, чем он занимается, – продолжала она, – что читает, за какую команду болеет, кто его друзья, как он учится в школе. Если б знать...

– Если?

– Можно было бы *убедить* себя...

Я видела, что она вот-вот расплчется. Последовала короткая пауза, пока она боролась со слезами.

– А знаешь, пожалуй, я не отказалась бы повторить. Налей мне этого твоего фирменного?

Она храбрилась, но ее бравада восхищала меня. Даже в горести она с успехом изображала мятежницу; отхлебывая из бокала, облокотилась на прилавок с неким подобием щегольства.

– Прямо-таки Содом и Гоморра через соломинку. Мммм... Как будто я умерла и вознеслась на небеса. Ну, насколько смогу к ним приблизиться.

– Я могла бы узнать что-нибудь о Люке, если хотите. И передать вам.

Арманда задумалась. Я видела, что она наблюдает за мной из-под опущенных век. Оценивает.

– Все мальчики любят сладости, верно? – наконец промолвила она как бы вскользь. Я согласилась. – Полагаю, его друзья тоже здесь бывают?

Я сказала, что не знаю, с кем он дружит, но почти все дети регулярно навещают шоколадную, это правда.

– Пожалуй, я тоже как-нибудь еще зайду, – решила Арманда. – Мне нравится твой шоколад, хотя стулья у тебя ужасные. Может, даже и в завсегдатаи запишусь.

– Я вам буду рада.

Арманда опять замолчала. Я догадывалась, что она привыкла все делать, как хочет и когда хочет, и не терпит, чтобы ее торопили или давали ей советы. Пускай поразмыслит.

– Вот. Держи.

Решение принято. Не колеблясь, она выкладывает на прилавок стофранковую купюру.

– Ноя...

– Если увидишь его, купи ему коробку сладостей. Какую он пожелает. Только не говори, что от меня.

Я взяла деньги.

– И не поддавайся его матери. Она уже зуб заточила наверняка, сплетничает, злословит. Кто бы мог подумать, что мое единственное дитя станет одной из сестер Армии спасения Рейно? – Она озорно прищурилась, на круглых щеках образовались морщинистые ямочки. – О тебе уже слухи всякие ходят. Наверное, догадываешься какие. А будешь якшаться со мной, только подольешь масла в огонь.

Я рассмеялась.

– Как-нибудь справлюсь.

– Не сомневаюсь. – Она вдруг уставилась на меня, усмешка исчезла из ее голоса. – Что-то есть в тебе такое, – тихо произнесла она. – Что-то знакомое. Но все-таки, наверное, до Марода мы не встречались, да?

Лиссабон, Париж, Флоренция, Рим. Столько людей. Столько жизней скрещивались с нашими, мимолетно пересекались, пролетали по касательной к утку и основе наших маршрутов. Но нет, ее я раньше не видела.

– И этот запах. Как будто что-то горит. Как будто в летнюю грозу десять секунд назад ударила молния. Запах июльских гроз и пшеничных полей под дождем. – Ее лицо светилось восторгом, взгляд испытующий. – Это ведь правда? То, что я говорила? О том, кто ты есть?

Ну вот, опять.

Арманда весело рассмеялась и взяла меня за руку. Кожа у нее прохладная – листва, а не плоть. Перевернула мою руку, взглянула на ладонь.

– Так и знала! – Она провела пальцем по линии жизни, по линии сердца. – Поняла, как только тебя увидела! – Нагнув голову, она забормотала себе под нос, голос – не громче дыхания, что обдавало мою руку. – Я знала это. Знала. Но подумать не могла, что когда-нибудь встречу тебя здесь, в этом городе.—

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.